ТРЕВОЖНЫЕ РАССВЕТЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»





Валерий Андреев

СВИРИДОВО ОЗЕРО

Нарушителя границы задержали на исходе ночи.

Человек этот был сущий дьявол. Он умел появляться там, где его не ждали, и исчезал так загадочно, как будто обладал секретом невидимки. На протяжении почти десятка лет он не давал пограничникам покоя. Сухой, жилистый, сильный, выносливый, он умел всё: стрелял на звук из двух парабеллумов, с которыми не расставался даже во сне, бросал нож с ловкостью индийского факира, ходил по земле бесшумно, как зверь, потому что сам был из их звериной породы. Он знал эти горы, эти леса с детства. Он жил здесь когда-то и мог хорошо ориентироваться на ощупь.

После поражения кулацкого восстания в Аджарии, сгорая ненавистью к советской власти, он бежал за границу. Долго бродяжничал, бедствовал, унижался, пока не поступил на службу в иностранную разведку. Здесь он нашёл себя, быстро выслужился, стал резидентом, и с тех пор рискованные рейды через советскую границу стали делом его жизни. Он брал хитростью, дерзостью, коварством. Сомнений не ведал, был беспощаден. Его почерк на границе знали все.

Звали его Али-заде Бала оглы.

Задержал резидента рядовой Николай Свиридов, пограничник первого года службы.

Когда задержанного повели к арбе, запряжённой двумя сонными мулами, чтобы отконвоировать в отряд, и все, кто был свободен от службы, собрались у ворот заставы, он колючими, недобрыми глазами на сухом, кирпичного цвета лице, оглядел пограничников и спросил у начальника заставы на чистом русском языке:

— Скажи, начальник, кто перехитрил старого оглы, здесь этот человек?

— Здесь,— ответил лейтенант и указал на Свиридова.

Свиридов стоял в сторонке — неприметный, белобрысый, будто выгоревший на солнце — и смущённо моргал густыми белёсыми ресницами.

Бала оглы с минуту внимательно смотрел на Николая, не меняясь в лице, потом легко бросил своё сухое тело в повозку и ни разу больше не обернулся.

Горы Свиридов видел впервые. Там, где он жил, была равнина, на сотни вёрст леса и леса, непроходимые топи, озёра, щедрые рыбой и дичью,— охотничий край. А здесь, куда ни кинь взгляд, всё голым-голо, обнажено, будто приподнято над землёй, дух с непривычки захватывает. Дорога в горах тоже не та, что на равнине, обманчиво коротка. На глаз до перевала рукой подать, а топаешь, топаешь — ноги гудят, как после покоса. И названия здесь в горах какие-то странные — «Пасть дьявола», «Печь», «Где Рекрут упустил нарушителя»... Свиридов слушал старшину, отыскивал и запоминал названные ориентиры — перевал, гору, ущелье — и думал о том, что его ожидает. Три года — не три дня, а служба на границе известно какая!

Ущелье с длинным и странным названием «Где Рекрут упустил нарушителя» рассекало склон мощного скального кряжа глубоким рубленым шрамом. Один конец его упирался в посеребрённые конусы гор, другой растекался в уютную зелёную долину. Надо полагать, когда-то здесь, в этом злополучном месте, пограничник по фамилии, а может, по прозвищу Рекрут действительно проворонил нарушителя границы. И было, видно, тому Рекруту ой как нехорошо, до жуткости обидно ему было, и по сей день казнит, поди, себя, бедолага, коли жив остался при этом. Всё это запоминал Свиридов, мотал себе на ус, потому что на границе, как говорил старшина Сойченко, мелочей не бывает, мелочь может стоить жизни.

Свиридов был человек лесной. Так и называли их, деревенских, из затерянной в лесной чащобе Застрихи — «лесные люди». И занимались они, застрихинские, испокон веков исключительно лесными делами и промыслами, опять же таки к лесу отношение имеющими. Места тамошние богатые: соболь, куница, белка. Водился и зверь попроще — заяц, лисица-огнёвка, волк, медведь, а про дичь и говорить нечего — поживы этой в лесу не переводилось. Застрихинские мужики все были белобрысые, конопатые, сложением не могучие, но выносливые, и, как один, охотники. Да не просто охотники, а промысловики. У Свиридова к тому же семья вся егерская. Дед и прадед, что погонщики, что ловчие, что псари — на всю округу славились. И собаки у них лучшие, и ружья редкие.

Батя, тот уже больше мастер по артельному промыслу, за бригадира верховодил у застрихинских. Здоровьем, правда, подкачал, щуплого вышел вида, зато взял всё умом, смёткой. Что лесовод, что охотник! Редко кто умел вынашивать так ястребов и охотиться с ними по уткам, лучше его расставить силки на зайца и закинуть рыбную сеть в реку. Повадки и нравы птиц и животных он знал в совершенстве. Самого сторожкого зверя вокруг пальца обведёт, когда касалось отлова. Мужички с батей по этой части тягаться напрочь отказались. «Миколку Свиридова всё одно не переплюнешь, а хоть и переплюнешь — не перескочишь...»

Так что Свиридов лесную жизнь с детства постиг. Любую птицу, любого зверя за версту распознавал. По голосу, по шороху, по следу. У деда выучился подражать птичьему и звериному языку, у бати — всех других лесных премудростей набрался. Да и сам кое-чего умел: с десяти годков ружьё в руках, чего там...

Ещё на учебном пункте в пограничном отряде прослышал Свиридов про резидента, неуловимого Бала оглы, по прозвищу Шакал. Интересно ему стало, вроде бы азарт охотничий появился. Боялся только одного: на заставу не попадёт, где Бала чаще появлялся. Гарантий таких не было, а проситься самому — это не в натуре Свиридова, чем он лучше других! Но стал на всякий случай прислушиваться, кто что говорит про резидента, выспрашивать про него. Говорили всякое. Силы, мол, страшенной, большой, ловкий, хитрый, как змей, стреляет на окрик без промаха, навскидку и из-за плеча. Ты ему «Стой, пропуск!», а он тебе — восемнадцать граммов

свинца, по девять из каждого ствола, и дело с концом. Нож у него, говаривали, дамасской стали, да не один, и рука крепкая, на бросок верная. И будто кричит он по-шакальи так, что у сторожевых псов шерсть на загривке дыбом подымается, и такой жуткий этот крик в ночи, что страх сам тебя одолевает, сопротивляйся не сопротивляйся. Но, знать, не один действует. Видно, кто-то знаки ему подаёт с нашей стороны: когда идти можно через границу, а когда и отсидеться резон.

Был на учебном пункте сержант один, в соседней роте служил. Про него говорили, будто свиделся он с резидентом однажды. Только не любил он про то вспоминать, потому как Шакал и по сей день на воле разгуливает.

Как-то Свиридов службу нёс в карауле, а сержант тот, Федотов, карначом был, то есть караульным начальником. Высокий такой, худой, левая рука короче правой — в локте не гнулась как надо, и на лицо сумрачный какой-то, будто недовольный чем. Ночью, вернувшись с поста, улучил Свиридов минутку, остался с сержантом с глазу на глаз и разговор насчёт своего интереса завёл, но только не впрямь, а так, околесицей. Что, мол, резидент — это шпион или чем отличается?

Сержант помолчал, пошевеливая шомполом поленья в голландке — дело происходило в сушилке,— только отблески огня оживляли его неподвижное, сумрачное лицо.

— Ага, шпион. Токо труба пониже, да дым пожиже. А так всё сходится,— с иронией ответил он.— А если без шуток: у него здесь, на нашей стороне, пять-шесть агентов имеется. И пока мы его не возьмём, их не выковырять, засели крепко.

И после паузы вдруг взорвался:

— Что вы все помешались на этом Шакале! Боитесь разминуться? Беду пропустить стороной? За этим дело не станет. Граница, она большая, только тропа в горах узкая. Своё возьмёте сполна. Я вот легко отделался,— он кивнул на свою укороченную руку,— а другие...

После этого разговора Свиридова ещё больше азарт разобрал, мечтой сделалось попасть на ту заветную пятую заставу.

Так прошло три месяца. Подошла инспекторская проверка, потом служба на границе. Стрелял Свиридов на экзамене отлично, ходил, бегал, как лось, с лошадью обращался не

хуже циркового наездника, собаки сразу чувствовали в нём хозяина. Словом, показал охотник товар лицом. Направили его на пятую заставу — важное оперативное направление, там такие нужны.

Застава как застава, «Тетроцхаре» называется, что значит «холодная вода», по названию речки. Была у заставы и летняя казарма. Та ближе к границе. «Четыре горы и небо»,— шутили пограничники. Стены из бутового камня и камыша, вместо крыши — в самом деле небо. В крупных звёздах. Над лесной Застрихой таких нет.

Выдали панамы, рубашки с коротким рукавом — спецодежда для тропиков. Панамы «здравствуй — до свиданья» называются. Все эти названия старички попридумывали, старослужащие, или «дембиля́».

С одним таким де́мбилем у Свиридова койки в казарме рядом. Фамилия его Куприхин, по прозвищу Митя-одессит. Весёлый парень. Много говорит, правда, и смеётся часто не по делу, а так ничего.

В первую же ночь заставу поднимают по тревоге. Вместе со всеми Свиридов торопливо собирается, тщетно стараясь унять нервное возбуждение. Как на грех, рукав гимнастёрки вывернулся наизнанку, пуговицы в петли не лезут, сапоги вдруг малы стали. В коридоре уже топот, построение, и он с тоской и завистью смотрит на пустующую койку одессита: «Даже заправить успел. Ловкий парень...»

Потом они бегут куда-то в ночь, спотыкаясь на каменистой горной тропе, и он лежит в засаде где-то в тылу участка. Сердце колотится как бешеное, кровь шумит в голове. Нет, не от страха — от азарта, возбуждения. Чудится Свиридову схватка с нарушителем, видится во всех деталях, может быть, с самим резидентом — чем чёрт не шутит! Но проходит час, второй, третий... Шум в голове затихает, и начинает Свиридов различать понемногу ночные звуки. Живёт природа: то птица сонная вскрикнет, то мышь прошелестит листом палым, то какой-то ползучий гад на тропе камешек стронет. Чуткое у охотника ухо. А до этого ничего не слышал ровным счётом, будто нем и глух был, слона мог запросто рядом пропустить, не то что нарушителя. «Всё от волнения. Нет, так негоже,— корит себя Свиридов,— ничего, обвыкну».

Под утро их собирают вместе, и тут же, на местности, начинается разбор. Тревога, оказывается, была учебной. Но это положения не меняет. Начальник заставы Балтабек Му-



сапиров встревожен и разгневан не на шутку. Дело в том, что учебный нарушитель — а им в эту ночь был Куприхин — умудрился проскользнуть под носом у всех нарядов, в том числе и у засады, в составе которой нёс службу Свиридов.

— Вам не границу охранять, а колхозный амбар сторожить! — бушует Мусапиров.— Да и то пустой, потому что полный никто не доверит...

Лейтенант не кричит, но говорит отрывисто, жёстко, обидно, и его красивое смуглое лицо с узким разрезом глаз тоже жёстко, холодно и отчуждённо.

Кто-то пытается разрядить обстановку:

— Товарищ лейтенант, так ведь нарушитель кто? Одессит!

По рядам пробегает робкая волна оживления, но тут же умолкает после новой реплики Мусапирова:

— А если бы на месте Куприхина оказался Бала оглы?

Как только произносится имя резидента, у Свиридова ушки на макушке, и всё постороннее его больше не отвлекает и не интересует.

А лейтенант между тем продолжает свою обвинительную



речь. Честолюбие молодого начальника задето за живое. Он сам рвался на эту заставу, добился наконец своего, строил планы поимки резидента, а тут сразу такой конфуз.

— Может, кому из вас безразлична судьба границы? Может, старички слишком рано стали посматривать в сторону чемоданов в старшинской каптёрке? А может, сразу доложить командованию, что мы ни на что не способны и место наше в обозе, а не на границе?..

Мусапиров знает, куда метит. Для пограничников нет святее чувства достоинства.

Шумок пробегает по рядам, будоражит строй. Чей-то голос из задних рядов неожиданно произносит:

— Не надо докладывать!

— Кто это сказал? Покажитесь! — приказывает лейтенант.

Свиридов выходит перед строем. Смущённо переминается с ноги на ногу.

— Докладывать не надо. Я поймаю резидента...

— Ну-ну,— говорит лейтенант, оглаживая усы и пряча под рукой улыбку.— Если не ошибаюсь, ваша фамилия Свиридов?

— Так точно,— отвечает Свиридов.

— Из новеньких?

— Так точно.

— Ну-ну,— ещё раз повторяет Мусапиров, на этот раз уже доброжелательно, и напряжение сразу спадает.

Мусапиров смотрит на часы и говорит старшине:

— Через пятнадцать минут личному составу быть в расположении заставы. Небольшой марш-бросок. Для проветривания мозгов.

— Есть марш-бросок для проветривания мозгов! — полусерьёзно-полушутливо отвечает старшина Сойченко и с особым шиком берёт под козырёк.

На границе всё познаётся не сразу и не вдруг. Сколько служишь, столько и открываешь для себя новое. Наука эта старая как мир, но зато прочная, входит в тебя на всю жизнь. Теоретически ты можешь подковаться и за неделю, наслушаться в сушилке всяких умных да полезных разговоров, а вот прочувствуешь только тогда, когда сам всё на себе испытаешь, весь участок вдоль и поперёк не единожды протопаешь, пробежишь и проползёшь. Скажем, почему гора прозывается Печью? Ну, тебе могут объяснить, в чём тут дело. Но впечатается в тебя это название накрепко только тогда, когда сам ты на эту горку взберёшься десяток-другой раз, да ещё в полной выкладке, да ещё в темпе, в составе тревожной группы, и будет от тебя самого, точно от настоящей русской печи, жаром пыхать.

Свиридов знакомится с участком на совесть. Всю эту науку, рассчитанную на три года, он обязан пройти за месяц. И потому он торопится. А поспешать ему надо. Для собственной же пользы. Балагура на границе уважают; в сушилке, в столовой, на просмотре картины — ему лучшее место и почёт. Болтуна — не прощают. При каждом удобном и неудобном случае его больно щёлкают по носу. И поделом. Свиридов, сам того не ведая, попал с той памятной ночи под обстрел всей заставы. А упражняться в юморе на границе умеют, палец в рот не клади. Каждый день повар встречает одной и той же фразой: «А-а, Свиридов! Приветик! Как там твой оглы поживает? Когда к нам собирается?» Войдёшь в сушилку — тебе тут же бесплатный совет: «Свиридов, а что, если ты с ним на фарси или на тюркском поговоришь, может, он стрелять не будет?» Решишь значок повесить на гимнастёрку, разряд по стрельбе — тут же заметят:

«Ещё не поймал, а дырку вертишь». Да ещё прибавят: «А зачем самому дырку вертеть? Шакал стреляет неплохо...» Куприхин, первейший на заставе балагур и юморист, соблюдает, правда, нейтралитет. Только подмигнёт, бывало, заговорщицки, будто взбодрить хочет: смелее, мол, деваться некуда, «вперёд огородами». Но однажды и он не утерпел. «Свиридов,— говорит,— я знаю, что у вас делается под шапкой. Мой вам совет: бросьте эти глупости. Или вы Шерлок Холмс?..»

Другой на месте Свиридова не стерпел бы, сорвался, вспылил, а тот только отмалчивается, будто не про него и речь. Человек поступает так в двух случаях: когда кругом прав или кругом виноват. Свиридовское молчание было из тех, когда виноватым себя не считают. Может, и корят в душе за несдержанность, но раскаиваться — ни-ни. Не тот характер, не та порода. Пустобрёх тот, кто сболтнул и думать забыл. А кто сказал и в памяти зарубил, тот человек слова. Мужчина, мужик по-лесному.

Да что там суд-пересуд, мучила Свиридова другая мысль: как подступиться к этому Бала оглы, с которого конца начинать? На мякине Шакала не проведёшь. Для Свиридова это ясней ясного. И пуганый, и травленый, и стреляный он зверь. Матёрый. След набросает — поди размотай, что твой кроссворд. Тут надобно что-то такое удумать, чтоб и просто и мудрёно было. Не то чтоб самому тот след распутывать, а ему чтоб голову заморочить, пускай наш кроссворд решает.

Кое-какие мыслишки у Свиридова уже имелись, и план стал вытанцовываться мало-помалу, да прежде надо было участок изучить хорошенько. В таком деле спешить — людей, как говорится, смешить, а себе горе наживать.

В самое это время сблизился Свиридов с Арстаном Мусапировым, тринадцатилетним братом начальника заставы. Полгода назад лейтенант съездил в отпуск на родину в Казахстан и привёз оттуда на заставу младшего братишку. Мальчишка бредил границей, прожужжал родителям все уши, уговорил брата и добился-таки своего. Здесь он ходил в школу — за два километра в соседнюю деревню, а всё свободное время пропадал на заставе. Застава стала его родным домом. Здесь он ел, спал, учил уроки, ходил с пограничниками на стрельбище, на занятия. Иногда брат брал его с собой на границу. Арстан неплохо стрелял, ловко держался в седле, помогал старшине по хозяйству. На заставе он ходил

в любимчиках, но держался независимо и самостоятельно. Дружен был со всеми одинаково, но свою дружбу впервые предложил Свиридову. Случилось это так. Однажды после ужина, когда в сушилке особенно многолюдно, Арстан подошёл к Свиридову и прямо тут при всех повёл такой разговор:

— Ты, говорят, резидента хочешь поймать? Правда это?

— Правда,— без колебания ответил Свиридов.

— Я тебя уважаю. Буду с тобой дружить,— сказал после этого Арстан и протянул Свиридову руку.— Ты не думай, что я маленький. Я ничего не боюсь. Честное слово. У меня имя такое — Арстан, значит, лев. Пусть кто-нибудь здесь скажет, если я боюсь...

При этом чуть раскосые глаза мальчишки блеснули, точно у волчонка, и вообще весь он подобрался, как бы устремился навстречу опасности. Впрочем, зубоскалить на этот раз никто не собирался.

За месяц, что минул с той злополучной ночи, когда Куприхин всех их провёл, Свиридов с Арстаном немало преуспели. Весь участок вдоль и поперёк исколесили. Сразу как-то у них сладилось, крепко повязалось — водой не разольёшь. Уважил Свиридов парнишку, дал тому понять, что они ровня. Не ради слюнтяйства уступил младшему, не какой-то там хитрый ход задумал — просто по-другому не умел, сам сызмальства к самостоятельности приучен. К тому же Арстан — открытая душа. Таких людей Свиридов уважал, тянулся к ним, хоть сам по натуре не из общительных. Но так уж выходит в жизни: молчальник тянется к весельчаку, стеснительный — к решительному.

Однажды Свиридов спросил у Арстана, почему он здесь, неужто у отца с матерью хуже?

Арстан со свойственной ему прямотой ответил:

— Я люблю брата. Хочу, как и он, быть пограничником.— Потом вдруг вздохнул: — Правда, я думал, здесь в школу не надо ходить...

Свиридов улыбнулся:

— Ты всегда так откровенно говоришь?

— Всегда.

— Это хорошо.

— Я знаю,— с достоинством ответил Арстан.

Они шли колхозным табачным полем, коротая дорогу к озеру, куда Свиридов зачастил в последнее время. Табак

уже вызрел, стоял бурыми прямыми колоннами, как солдаты в строю, при полном своём параде, и таинственно перешёптывался под ветром. Говорят, в этих краях выращивали лучшие сорта, по крепости не уступающие турецким,— самсун, трапезонд, самари. Свиридов, правда, в этом мало что смыслил, был к тому же некурящий, но на вид табаки действительно были хороши. А главное, по этим ещё не убранным табачным плантациям можно было скрытно пройти далеко в глубь пограничной зоны.

Поля табачного колхоза тянулись по тылу всего участка заставы — с правого фланга на левый, вплоть до озера, где начиналась буковая роща. Тут был самый гущарь, бурелом, ежевичный кустарник, колючий и неприступный, точно проволочное заграждение. Само озеро имело форму боба, вытянутого на полтораста метров вдоль границы, причём на две трети простиралось на сопредельную сторону. Граница по озеру никак не обозначалась, ориентиром служили два ближних пограничных знака на западном и восточном берегу и воображаемая прямая между ними. Охота и рыбалка здесь были запрещены с обоюдного согласия сторон. Озеро названия не имело, прозывалось просто Безымянным, так и обозначалось на схеме участка.

Свиридов и Арстан миновали узкий клин рощи и неторной дорогой вышли к тростниковым зарослям. Пахнуло знакомым запахом ранней прели, терпкой хвои, мхами, с берега потянуло сыростью и прохладой. Метёлки камыша подступали к самой роще, места были мелкие, тинистые, поросшие болотным кочкарником. Рядом в камышах крякнула утка, шваркнул селезень. Свиридов сделал знак Арстану. На чистой воде, среди камышей спокойно плавала пара чирков. Утки смешно, на полтуловища, ныряли, мелко тряся хвостиками, будто обмахивались веером. Чирок-селезень был раскрашен как ёлочная игрушка. Свиридов невольно залюбовался им.

Арстан неловко переступил с ноги на ногу, и сторожкие птицы тотчас поднялись на крыло. Но Свиридов этому не огорчился. В прошлый раз в этом же месте он спугнул пару кряковых. Видно, здесь была присада — постоянное место утиной днёвки. «Удобное местечко»,— подумал Свиридов, прикидывая мысленно, где скрадок устроить, где выставку для подсадных, будто заранее знал, что резидент пройдёт через границу именно здесь. А почему бы и нет?

Он вдруг живо представил себе, как человек с той стороны, вооружившись биноклем, тщательно, метр за метром, прощупывает наш берег, и всякий раз взгляд его натыкается на спокойно плавающий утиный выводок. Правда, куда ни кинь, место это рискованное, рассуждал за Шакала Свиридов, одно из вероятных направлений — раз, удобное для пограничной засады — два, для скрытого отхода в тыл — три. Всё это так. Но выводок-то плавает. А что это значит? А это значит, что ни зверя, ни человека поблизости нет. Птицу трудно обмануть...

— Свиридов, здесь будешь брать резидента? — Арстан всех называл по фамилии и не терпел фамильярности, он во всём подражал брату.

Свиридов вздрогнул не только от неожиданности — мальчишка, как ясновидящий, читал его мысли.

Прежде чем остановиться на этом варианте, он долго раздумывал, прикидывал, ставил себя на место нарушителя. Тщательно изучив участок, он выделил два наиболее вероятных, с его точки зрения, направления — ущелье и озеро. Ущелье было узким и надёжно блокировалось пограничными нарядами. Кроме того, там было оборудовано насыпное КСП — распаханная контрольно-следовая полоса. Идти через озеро — тоже риск немалый, но шансов, правда, больше. Но не на том строил Свиридов свой замысел. Он хотел дать резиденту не шанс, а твёрдую гарантию успеха — при условии, конечно, что тот замыслит свой переход именно здесь, в этом месте. Поэтому-то Свиридов и зачастил последнее время на озеро, поэтому и просиживал здесь все свободные часы, с трудом выкроенные из жёсткого пограничного распорядка.

Его мучил один вопрос: как заставить резидента выбрать именно этот путь, каким образом подсказать ему эту мысль?

Когда Арстан задал свой вопрос, Свиридов ещё не был готов к ответу, он только нащупывал ход, тем не менее душой не покривил, ответил утвердительно.

— А откуда ты знаешь, что он пойдёт через озеро? — спросил Арстан.

— Я этого не знаю, — честно сознался Свиридов. — Но я хочу, чтобы он здесь прошёл. Понимаешь?

На обратном пути на заставу Арстан получил от Свиридова первое «боевое» задание: узнать, кто в деревне держит голубей.

...Про свиридовскую обмолвку поймать резидента на заставе мало-помалу стали забывать. Острить тоже наскучило — жёваное не вкусно. Позабылась бы эта история и вовсе, если б сам Свиридов не давал к тому больше повода.

Но Свиридов от своих слов не отступился. Он готовился, и это видели. Всем глаза не завяжешь.

Как-то вечером сразу после боевого расчёта Свиридова вызвали в канцелярию.

Вызов этот Свиридова не удивил. Он давно его ждал и хорошо знал, о чём пойдёт у них с лейтенантом речь и чем всё может кончиться. Поэтому, переступая порог канцелярии, волнения не испытывал. А чего дрожать — чужого не воровал.

Начальник заставы был в курсе всех свиридовских дел — на то он и начальник,— но до поры не вмешивался. Ему по душе пришлась свиридовская настырность. Человек энергичный и живой по натуре, Мусапиров терпеть не мог безынициативных, вялых людей. Таким, по его убеждению, на границе делать нечего. Правда, ведомо было лейтенанту и то, что от иной полезной инициативы один только шаг до «самодеятельности». Переступишь тот предел — большую кучу дров можешь наломать. «Самодеятельность» на границе — штука вредная, разом может погубить всё дело. Потому и решил вмешаться Мусапиров — почувствовал: наступил у Свиридова тот самый критический момент, когда медлить дальше нельзя.

Свиридов вошёл, доложил о себе.

Лейтенант, у которого минуту назад уже заготовлены были определённые для этого случая слова, тут как-то заколебался. Обезоруживали глаза Свиридова, его взгляд. Иной смотрит с прищуром, точно прицеливается, другой томно, с ленцой, обволакивает как бы, у третьего взгляд бегает, как у нашкодившего кота. Свиридов смотрел прямо, открыто и дружелюбно, будто говорил наперёд: «Вот он и я. Приказывайте. Выполню».

Вместо всей моралистики, которую Мусапиров намеревался в воспитательных целях здесь выложить, он вдруг спросил:

— Скажите мне, Свиридов, только начистоту, вы это серьёзно?

— Что серьёзно? — не понял Свиридов, переспросив. И по лицу было видно, что он не понял.

Лейтенант прокашлялся, выжидая.

— Резидента ловить собрались?

Настала очередь Свиридова помолчать в недоумении.

— Так по-другому и браться нечего,— ответствовал он не вдруг.

— Хм, тоже верно.— Лейтенант почувствовал в себе какую-то унылую неловкость: не клеился у них разговор, в корне неприятен он ему был, этот разговор, выходило, что попрекал человека — судя по всему, хорошего и честного,— который сам добровольно взвалил на себя такую обузу. Да, дела...

Помолчали.

— Ну, а как вы себе всё это представляете? — как можно деликатней спросил лейтенант, стараясь скрыть нарастающее раздражение, верный признак недовольства собой.

Свиридов рассказал о своих наблюдениях: про утиную присаду на озере, про идею с подсадными, про голубиную почту, которая, по всей видимости, служит для Шакала связью. Говорил он толково и просто, и чем больше воодушевлялся своей идеей, тем скорее исчезала неловкость между ними от первых минут разговора. Дивился лейтенант: много Свиридов успел за столь короткий срок. На вид-то парень не хваток, а горы свернул. И замысел толковый, позавидовать можно. И в самом деле шевельнулась в душе Мусапирова эта самая зависть: не он, начальник заставы Мусапиров, а солдат-первогодок всё так точно рассчитал. Обидно было вдвойне — свой вынашивал план. Но этот, свиридовский, был лучше, честно надо признать. Не каждому дано смирить свою гордыню. Мусапиров это сумел. Знал он: честолюбие — скотинка с норовом, её надобно держать в узде.

— Ну что же, идея толковая,— сказал лейтенант, когда Свиридов умолк.— Хвалю. Жаль, не мне пришла в голову.— Здесь он не покривил душой.— Сам придумал?

— Да нет,— Свиридов смущённо переступил с ноги на ногу.— Батя у меня... охотник. Сказывал как-то про браконьеров, что, мол, в отличие от обычного охотника, они — и охотники и дичь одновременно. Так и этот Бала оглы, он тоже вроде дичи, а дичь ловится на приманку. Вот и вся наука...

«Наука-то невелика,— подумал Мусапиров,— да не каждому она дана». И сказал после недолгого раздумья:

— Ну что ж, план твой одобряю! А теперь присаживайся

и давай всё обмозгуем...— Лейтенант придвинул к столу табурет и указал на него.— Тут, понимаешь, всё надо так рассчитать, чтоб комар носа не подточил. Охота охотой, а это, брат, граница...

В отличие от лейтенанта Мусапирова, старшина Сойченко не был дипломатом. Он решил прямо сказать Свиридову: «Не суй макитру в вовчу пыцю. (Не суй голову в волчью пасть.) Успеется!» Для этого разговора он специально и припозднился в баню, пар первый пропустил, что само по себе уже было ЧП.

Баня на заставе — событие почти ритуальное, по высшему разряду обставленное. В субботу с утра, часов с пяти, начинается готовка. Два специально выделенных человека колют дрова, таскают ключевую воду из Тетроцхаре, вяжут веники, вершат топку. Первый пар обычо снимает старшина — большой любитель парилки. В это время в баньку не зайдёшь, вползать надо — такое пекло не каждый выдержит. Парится старшина по-страшному, перепонки от пара гудят. После каждого захода бежит окунуться в Тетроцхаре, в которой и летом вода ледяная.

Но сегодня обычный распорядок нарушен. Старшина передал через дежурного, чтоб начинали без него. Сам же пришёл одним из последних. Осведомился у банщиков, был ли Свиридов, и молчком, без обычных шуток прошёл в парилку.

«Кто ж его остановит, дурня, если не я?» — ворчал он про себя. Подсадных он ему, конечно, достанет. Это приказ лейтенанта. Старшина человек военный и приказы привык исполнять. Но лично-персонально затею эту он не одобрил. Так прямо и сказал Мусапирову. Какие ребята служили тут в Тетроцхаре! Не чета нынешним! Почти все вражьим кайлом меченные — кто пулей, кто финкой. И те не сладили с Шакалом. А тут пацан, салага, границы ещё не испробовал, а туда же... Ничего путного из этого не выйдет. Продырявят макитру из парабеллума, и дело с концом. А дома батько, матерь...

Так рассуждал Сойченко, когда в баню вошёл сам виновник.

Свиридов растерянно потоптался у порога, не решаясь пройти. Внешность старшины даже в голом виде внушала

большое уважение: рост под два метра, в плечах косая сажень, кулаки как кувалды, запорожские усы молодецки приподняты кверху. Не зря пограничники за глаза зовут старшину странной присказкой «Казацкому роду нема переводу». Как-то Свиридов ненароком нанёс старшине большую обиду, сказал по неосторожности, что, мол, тот очень похож на запорожского казака. «Как это похож! — вскипел Сойченко.— Та ты знаешь, бисова макитра, що Сойченко— это и есть истинная запорожская фамилия!»

У старшины было три любимых обиходных выражения, по которым можно было легко определить его настроение на данный момент. Если он говорил «бисова макитра», значит, очень гневался, «бисов сын» — ещё туда-сюда, ну а «бисова дытына» — это было уже ласкательным. Заслужить у старшины «бисову дытыну» редко кому удавалось.

— Ну, что тянешься, как на параде? Проходь, парку поддай,— сказал Сойченко, разглядев у порога Свиридова.

Свиридов взял с лавки шайку, налил из бочки, что стояла в прокопчённом углу, воды, потом принёс флягу, где загодя заквасил сухари, вылил забродивший квасок в черпак, развёл его негусто кипятком и ловко метнул в узкую, пышущую жаром горловину. И тотчас оттуда со свистящим придыхом вырвалась густая струя обжигающего, пахнущего хлебом пара. Свиридов ещё дважды проделал эту немудрёную операцию. Сухой раскалённый воздух растёкся по парилке.

«Ловок, бисов сын»,— подумал, блаженствуя, Сойченко и немного оттаял.

— Ну-к, пройдись разок, больно парок хорош,— с трудом промолвил старшина, распластавшись на верхней полке, где даже глаза пощипывало от пара.— Веник там в углу отмокает. Он хоть из эвкалипты, да берёзовому не уступит. И духовит не меньше. А главное — крепок, самый раз под мою шкуру.

Свиридов взял увесистый веник и ловко прошёлся по мощной старшинской груди.

— Ох-эх! — вздыхал от удовольствия Сойченко.— Ох-эх, бисов сын! — стонал он.

Когда дело дошло до спины, Свиридова вдруг точно за руку кто придержал. Через всю правую лопатку спину Сойченко кроил безобразный багровый, с синевой, шрам. «Шакалова отметина»,— сверкнуло в мозгу.

— Ну, что там? — спросил Сойченко, почувствовав замин-

ку.— Да ты не пугайся! От пули не переломился, от веника не сломаюсь.

После того как старшина с горячим ответным чувством «обработал» Свиридова, а потом они весь этот ритуал повторили по второму и третьему разу, бегая по очереди к леденящей купели Тетроцхаре, между ними установилось полное взаимопонимание. Старшина будто и позабыл, что собирался «вправить мозги» Свиридову. А может, он знал, что этого уже не требуется. Может, он догадывался о чём-то. Только перед глазами у Свиридова всё стоял сойченковский шрам — сизая безобразная борозда по живому розовому телу. «Зверь он и есть зверь,— подумал Свиридов.— Кончать с ним надо...»

— Шакал — он, конечно, не селезень,— говорил между тем старшина,— но клюнуть может. Удумал ты тут с понятием.— Разговор между ними принял теперь совсем другой оборот.— Добуду я тебе этих подсадных, так и быть. Завтра же привезу. Дидок тут один есть в районе. Вот у него и водится это добро.

И, помотав лобастой головой, заключил с одобрением:

— Ну и бисова дытына!

Подсадные были в самой поре. Свиридов сразу это заметил, только взглядом скользнул по садку. Четыре серых, в коричневу́, кряквы с зеркальцами на крыльях и красавец селезень — изумрудная голова, сорочий глаз. Слово своё Сойченко сдержал.

Арстан тоже не сплоховал. Свиридов уже знал, что голубей в деревне держат три двора — Алиевы, Залбековы и Рагимовы и что лучшие были у ага Смаил Рагимова, семидесятилетнего старца, внук которого Талват, по прозвищу Ябеда, учился с Арстаном в одном классе. Этот самый Талват хвастался как-то, что у деда есть ещё пара редких чёрных карьеров, которых он сберегал пуще собственного ока и выпускал очень редко.

Тут же Арстан получил от Свиридова новое задание: сдружиться с Талватом, бывать у него дома, узнать семью. Свиридова заинтересовала пара чёрных карьеров. Он был неплохим знатоком голубей и знал, что чёрные карьеры отменные почтари, двести — триста километров для них не расстояние. Что, если Смаил-ага и есть тот самый неизвестный, что сигналит резиденту с нашей стороны?

Арстан неожиданно воспротивился: «Дружить с Ябедой? Никогда!»

Пришлось Свиридову терпеливо объяснить ему, в чём дело. Вообще с Арстаном договориться было непросто. У него было собственное представление о рыцарских качествах человечества, по-детски наивное, но чистое и непоколебимое. Уже через несколько дней он отвёл Свиридова в сторону и, дрожа от возбуждения и обиды, спросил:

— Я слышал, ты хочешь идти в засаду с Куприхиным. Ты предал меня!

— Нет. Я хочу поручить тебе более важное задание. Кроме тебя, его не выполнит никто.

— Хорошо. Говори.

— С завтрашнего дня постарайся подольше задерживаться у Рагимовых: учи уроки с Талватом, играйте. Как только старик запустит своих чёрных карьеров, сообщишь мне. От этого и будет зависеть: возьмём мы резидента или не возьмём.

— Ты не врёшь? — спросил Арстан с недоверием; видно, его смутила лёгкость задания.

— Я никогда не вру,— ответил Свиридов.

— Хоп,— подражая брату, сказал Арстан.— Я берусь выполнить это задание.

— Вот и ладушки,— сказал Свиридов, повеселев.— А сегодня, когда будешь у Талвата, проговорись ненароком, что, мол, пограничники ждут резидента в ущелье, готовят там засаду.

— Ты что! Это же военная тайна! — глазёнки Арстана вспыхнули огнём, и весь он подобрался, как тогда в сушилке, когда готов был один перед всей заставой вступиться за Свиридова.

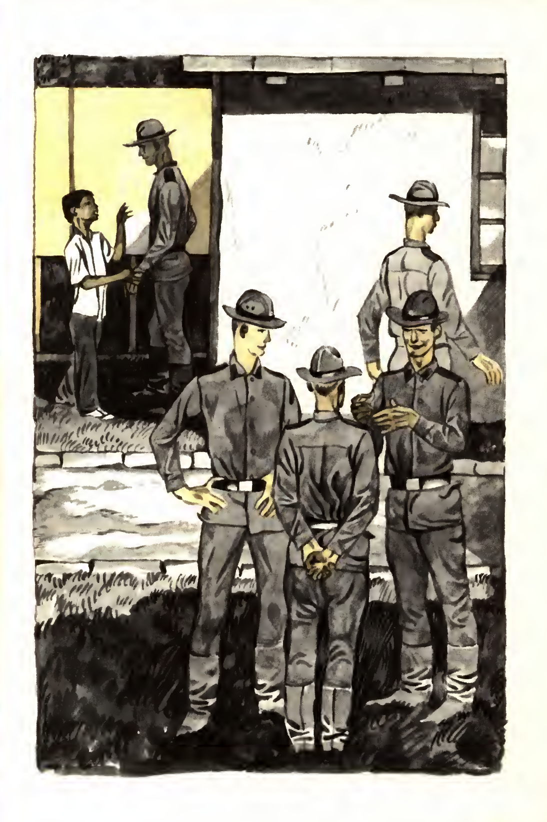
— Ты не прав,— спокойно сказал Свиридов.— Это называется «военная хитрость».

— Военная хитрость? — недоверчиво переспросил Арстан, всё ещё настороженно поглядывая на Свиридова.

— Конечно. Если Смаил-ага действительно сигналит резиденту, то он тут же пошлёт своих почтовых предупредить, что его ждут в ущелье. Значит, Шакалу придётся искать другой путь. И тем больше у нас шансов, что он выберет озеро... Понял?

— Понял.

— Тогда действуй!



Назавтра Арстан примчался на заставу, точно взмыленный жеребёнок, с трудом переводя дыхание. Нашёл Свиридова, схватил за руку, едва вымолвил:

— Смаил-ага ...голубей...сейчас...чёрных... — и указал в небо.

Обычно невозмутимый, Свиридов просиял всем лицом и хлопнул Арстана по плечу:

— Молодчина, Лев!

Приспела пора действовать.

Свиридов неспроста остановил свой выбор на Куприхине. Одессит мог не только позабавить заставу шуткой. Он был смел, хитёр, ловок, отлично стрелял и — что самое главное — всё делал с огромным желанием утвердить себя, показать, что он, Куприхин, может всё, причём делал это на совесть. В трудную минуту на такого человека можно положиться.

Когда Мусапиров спросил у Свиридова, кого бы он хотел взять с собой в засаду, тот без долгого раздумья назвал Куприхина. Лейтенант выбор одобрил.

Сам Куприхин принял это как должное. Во всяком случае, вида не подал. При встрече спросил у Свиридова как ни в чём не бывало:

— Слушай, Свиридов, ты здорово на кого-то похож. Вот только не припомню — на кого. Но что похож, это факт. А?

— А-а, — отмахнулся Свиридов с хорошим чувством. Ему понравилось, что Куприхин не лебезит, не заискивает. Пуще всего не любил этого Свиридов. Выбрали-то по заслугам, а не за красивые глаза. А может, он ничего и не знает? На всякий случай спросил: — Лейтенант тебя вызывал?

— А как же!!

— Ну, что скажешь?

— А ничего. Впрочем, желаю знать: завещание когда писать, сейчас или потом?

— Нашёл время шутки шутить, — недовольно буркнул Свиридов.

— Хорошенькие шутки, — по-прежнему усмехаясь, возразил Куприхин. — Вы мне говорите: «Куприхин, идите под два парабеллума!» А я вам спокойно отвечаю: «Я интересуюсь это знать, чем всё кончится?» Резонно?

Свиридов помолчал, теряясь в догадках: «Разыгрывает он, что ли?» Сказал, что думал:

— Когда идёшь на зверя, пятки не смазывают. Смазывают оружие.

— Понятно, Свиридов.— Куприхин по-прежнему улыбался.— Гарантий не даёшь, значит?

— Гарантий не даю.

— Хорошо, это уже мужской разговор. В таком случае в моём лице вы имеете типа, который в силу врождённого характера любит потрепаться, но который никогда не подведёт. Вот вам моя рука! — Одессит любит обставить всё должным образом.

На том они и расстались, но не надолго.

У Свиридова оставался нерешённым один важный вопрос, который он в сутолоке дел всё откладывал на потом, но который заботил его не меньше других, более объёмных и важных дел, связанных с поимкой резидента. Он слишком хорошо помнил слова Сойченко, чтобы не пренебрегать мелочами. Мелочей на границе не бывает.

Короче, он замыслил небольшой эксперимент, и ему требовались совет и помощь Куприхина.

— Слушай, Куприхин,— доверительно обратился он к Мите-одесситу,— а почему при оклике неизвестного на границе: «Стой, пропуск!» — обязательно надо говорить громко?

— А ты спроси у того дяди, кто инструкцию сочинял,— невозмутимо ответил Куприхин.— Он, поди, больше нашего по границе потопал.

— Ладно. Ну, а пугаешься ты, когда ночью тебя вдруг проверка шумнёт громко? — закинул Свиридов удочку с другой стороны.

— Сначала было, вздрагивал,— признался одессит.— А теперь и ухом не веду. Вот ей-богу. Мне «Курок» — я им «Курск», «Мушка» — «Минск», «Прицел» — «Пинск», «Приклад» — «Подольск» и так далее. Привычка.

«Любопытно,— подумал Свиридов.— А ведь Шакал тоже стреляет на громкий оклик. Это тоже привычка? А что, если этот самый оклик произнести непривычно — тихо или шёпотом? Как это подействует на психику? Непривычное даже зверя выводит из себя, а тут всё-таки человек...»

Как только свечерело, Свиридов подстерёг Куприхина у бани, когда он нёс для сушилки охапку дров. Только тот из-за угла — он ему шёпотом чуть ли не в ухо: «Стой, пропуск!» Куприхин столбом телеграфным замер и онемел,

только дровишки по сапогам — стук-стук — посыпались. Секунды три столбычил. Потом заикаться стал.

— Т-ты,— говорит,— Свиридов? Х-хмырь болотный. Чалдон чёртов. Голова садовая. Я же заикой останусь во веки вечные. Бобылём. Мою невесту знаешь как звать? Клитемнестра. Поди выговори заикаючись...

«Повело Куприхина, повело»,— подумал Свиридов, довольный неожиданным эффектом своего опыта.

— А говорил, и ухом не поведёшь,— поддел он одессита.

— Так громко же! А ты шепчешь, как урка с одесского Привоза.

«То-то и оно»,— подумал Свиридов и сам себе улыбнулся в темноте.

Поднялись до света.

Собраться дело нехитрое. У Свиридова всё припасено загодя. По той самой житейской мудрости: не спеша запрягают, да быстро ездят. Оделись легко, но с запасом: уже прихватывал «утренник» — первый осенний морозец; на ноги натянули бродни — лёгкие, из мягкой кожи болотные сапоги, собственноручно сшитые Свиридовым из старых яловых голенищ специально для этого случая. Обмотали оружие, чтоб не гремело. Приладили вещмешки с запасом продуктов на трое суток, корм для уток и самих подсадных в садке. Ещё Свиридов запасся верёвкой — наручникам он не доверял — следовым фонарём, нашатырём и двумя индивидуальными медицинскими пакетами — мало ли что.

Провожали их Мусапиров, Сойченко и Арстан.

Лейтенант, как и полагается, поставил Свиридову и Куприхину боевую задачу на охрану границы и, хоть было всё давно говорено-переговорено, ещё раз повторил план действий засады, порядок взаимодействия с другими пограничными нарядами и сигналы для связи.

Было свежо. В низинах стоял туман. Ноги купались в росе. Шли ходко. Свиридов хотел затемно быть на месте и управиться с подсадными. Небо вызвездило ярко, и дорогу различать было нетрудно. Только здесь, на юге, Свиридов видел такие крупные и яркие звёзды. Казалось, протяни руку и потрогаешь их лохматые с переливом лучи.

Вошли в рощу. Сразу сделалось темно. Запахло терпкой хвоей, багульником, мхами. Звуки стали глуше, будто заблу-

дились в чащобе. Где-то рядом ухнула выпь. Куприхин напоролся на куст и вполголоса выругался. Свиридов цыкнул на него. Совсем скоро они были на месте.

— Вот и наша кулижка,— сказал Свиридов и тут же принялся за «выставку».

Отыскал тайничок, где загодя заложил готовые шесты — гибкие орешины. Потом выбрал среди камышей плёс и расставил на чистой воде шесты. Натянул на лапки крякуш ногавки — кожаные браслетики со шнуром, а шнур приторочил к шестам, надев предварительно на них колечки из берёсты, чтоб утка, кружась вокруг шеста, не запуталась. Рассадив уток по кружкам, Свиридов принялся сооружать скрадок, чтоб было им с Куприхиным где схорониться днём. Поблизости отыскался вывороченный пень. Там и облюбовал он место для шалаша.

Когда всё было готово, расположились с Куприхиным в зарослях камыша, рядом с «выставкой». Предварительно договорились о сигналах.

— Вабить-то умеешь? — спросил Свиридов одессита.

— Чего-чего? — не понял тот.

— Кричать по-птичьи или по-звериному?

— А-а! Это могу. По-ишачьи.

— Нет. По-ишачьи не годится,— серьёзно сказал Свиридов.

— Чудной ты человек, Свиридов,— хохотнул Куприхин,— шуток не понимаешь.

— А ты знай время шутки шутить!

— Ладно тебе. Не дурней паровоза...

День выдался спокойный.

Погода стояла ясная, паутинно-росные по утрам дни бабьего лета. На деревьях и кустах серебром горела нависъ. Потом всходило солнце и быстро, точно сгорая от жажды, выпивало росу.

«Дупелиная погодка,— подумал Свиридов.—Счас у нас пошли дупелиные высыпки. Да и утка жирует. Батя в письме спрашивает: «Может, ружьишко прислать, побалуешься раз-другой на свободе? — Свиридов улыбнулся про себя.— Знал бы, какая у нас нынче охота и какая дичь...»

Свиридов отослал Куприхина в шалаш отдыхать, а сам, вооружившись биноклем, вёл наблюдение.

Крякуши спокойно полоскались у своих кружков. Время от времени к ним опускались дикие соплеменники, и тогда

раздавалось над озером громкое жваканье красавца селезня.

Ничего подозрительного Свиридов на том берегу не приметил. Однажды только вдоль воды медленно протащилась крестьянская арба, и кто-то в извозчичьем зипуне торчал над парой волов. Да ещё раза два с нашего берега, много левее, как и было условлено, к озеру спускался пограничный наряд. Пошумели малость, спугнули птицу и ушли. Так надо было.

Минули ещё сутки, а Шакал никак себя не обнаружил. «Ничего, будем нажидать,— успокоил себя Свиридов.— Авось проявится. Человек — не иголка».

Они сидели с Куприхиным в шалашике и молчком, без аппетита заканчивали свою однообразную трапезу.

Вокруг плотной стеной к скрадку подступал лес. Во влажном воздухе был разлит аромат осенней прели, обычно так волнующий охотничью кровь.

— Заразистые места! — вслух сказал Свиридов с блаженством на лице.— Зверья должно быть много. Во, гляди, заячьи поглоды!

— Почему заячьи? Может, лось,— равнодушно возразил Куприхин.

— Осинку заяц стрижёт, а лось — молодые сосняки.

— И всё ты, Свиридов, знаешь. Откуда у тебя столько ума?

— Поживи в лесу с моё, и ты поумнеешь малость.

— Ну, спасибо,— поблагодарил Куприхин.

— Да не за что,— ответил Свиридов.

Куприхин ещё раз нехотя ковырнул в банке и отставил её в сторонку.

— Ты чего? — удивился Свиридов.— Обиделся?

— Вот ещё! Была охота...

Ночь скороталась нескоро.

Наступил третий день. По-прежнему было спокойно. Свиридов не замечал ничего такого, что говорило б ему о присутствии на том берегу Шакала. «Неужели осечка? — шевельнулась в душе неуверенность.— Нет, не может такого быть!»

Утром на той стороне по берегу снова протащилась вчерашняя арба с тем же возницей и в одном месте, за густыми камышами, вроде бы приостановилась на время. Но это были только догадки. И всё-таки на душе у Свиридова было му-

торно. Нутром, кожей чувствовал он чьё-то незримое присутствие. Вот только обнаружить никак не мог. И потому маялся.

Куприхин изнывал от безделья, а ещё пуще от желания поговорить. Свиридов что за собеседник! Всё молчком да молчком, как бирюк. Он даже слушать толком не умел. А для Куприхина главное — чуткая аудитория, потому что он своего рода артист. Одессит явно томился. Да и не спалось к тому же.

— Слушай, Свиридов, как ты мыслишь: из чего состоит человек?

— Известно из чего. Элементов, клеток...— нехотя ответил Свиридов.

— Вот и ошибаешься. Мой дед говорил: человек состоит из души, тела и паспорта. Понял? Это я к тому, что, допустим, мы резидента поймаем, а документов при нём нет. Как быть? Кто нам с тобой поверит?

— Ну и балаболка ты! — качнул головой Свиридов.— Шёл бы спать. Ночью не придётся.

— Слышь, Свиридов,— не унимался Куприхин.— Хочешь, покажу позу змеи, «сарпасана» называется? Слышал что-нибудь про йогов?

— Ты бы не тряс камыши и получше изображал позу бревна,— буркнул Свиридов, не отрывая от глаз бинокль.

— Нет, Свиридов, что ни говори, а человек ты тёмный, юмора не понимаешь.

— Отчего не понимаю? Понимаю.

— Да ну? — Лицо Куприхина отразило крайнюю степень удивления.— Тогда расскажи что-нибудь весёленькое, смешное.— И Куприхин пренебрежительно отвернулся и пополз в сторону шалаша.

Чутьё не обмануло Свиридова. Ещё днём на той стороне кто-то неосторожно спугнул птицу. А к вечеру, на заходе солнца, из зарослей камыша что-то коротко блеснуло, вроде бы окуляр бинокля. Свиридов местечко то заприметил и глаз больше с него не спускал. Ночью перетасовал «выставку» — двоих крякуш отсадил в сторонку, остальных передвинул чуть левее. Образовался неширокий проход в камышах, тут они и расположились с Куприхиным. Свиридов сам определил место одесситу и строго-настрого наказал:

— Увидишь — молчи! Затаись. Будем нажидать. Понял? Я сам буду с ним говорить.



Куприхин молча кивнул, а сам подумал: «Говори, говори, не заплачу, голова, она одна, запасных частей ещё не изобрели...— Но самому сделалось обидно: — Выгораживает. Себя подставляет под пулю. Ладно. Увидим. Где Одесса не пропадала...»

Ночь тащилась, как древняя старуха, которой недостаёт сил выбраться из ущелья.

У Свиридова с Куприхиным затекли ноги, руки, ломило спину, но шевелиться было нельзя: звук над водой далеко уплывает. Наконец вверху засерело. Над озером поплыл туман. С гор налетел ветер и стал его разгонять. Образовались просветы, в которых изредка угадывался противоположный берег. В одном из просветов Свиридов и увидел его. Маленькая надувная лодка скользила легко и беззвучно. Казалось, Шакал не грёб, а помахивал крыльями. Лодка была уже на середине, чуть слева от их засады. Свиридов натянул шнур и дёрнул коротко один раз, давал знать Куприхину: «Внимание, вижу его!» Два раза означало «заходи слева», три —



«заходи справа». Куприхин располагался справа от Свиридова и чуть в тылу, но и он мог уже различить лодку и человека в ней.

Лодка между тем описала дугу и стала медленно приставать к берегу. Казалось, человек в ней тщательно отыскивал на берегу знакомый ориентир, а может, просто выжидал. В это самое время и шваркнул на «выставке» селезень, будто почуял незнакомого. Было это кстати, и в душе Свиридов поблагодарил умную птицу.

Но человек в лодке всё медлил, должно быть вслушивался, жадно ловя звуки. А подсадные успокоились, задремали на своих кружках. Наконец лодка двинулась к берегу. Медленно, осторожно. Камыши надёжно укрывали пограничников, а пришелец был теперь весь как на ладони. Был он высок, сухощав, тело гибкое, тренированное, лица не разобрать — на самые глаза нахлобучена мохнатая, как у горцев, шапка. «По приметам он,— подумал Свиридов.— Ну, теперь не упустить бы...»

Заприметив уточек, Шакал успокоился, повёл себя смелее. Не сходя с лодки, выпустил из неё воздух. Лодка

съёжилась и осела. Там, где она затонула, Шакал воткнул камышину и по пояс в воде двинулся к берегу.

Свиридов рассчитал точно. Шакал шёл прямо на них. Его манил тёмный клин спасительного леса. В каждой руке у него было по парабеллуму, глаза зоркие, злые. Точь-в-точь как в той молве, которую не раз слышали Свиридов с Куприхиным. Теперь это было наяву.

Вот и берег. Ноги Шакала беззвучно ступают по сухому.

Свиридов прижался к камышам, затаил дыхание и пропустил Шакала мимо себя. Теперь он находился между ним и Куприхиным, словно в западне.

«Что он медлит?» — у Куприхина пересохло в горле и вспотели ладони. И тотчас до его слуха донёсся, точно из-под земли, шёпот Свиридова: «Стой, пропуск!» Но прежде, мгновеньем раньше, Куприхин с удивлением увидел, как Шакал вдруг выронил из рук оружие, медленно опустился на колени и закрыл лицо. Что-то в эту секунду сломалось в нём. Надёжно отработанный механизм, который безотказно действовал много лет, дал осечку, лопнул, как пузырь.

Пока Куприхин, ошарашенный этой картиной, соображал, в чём дело, Свиридов уже выскочил из своей засады, подобрал оружие, завёл руки резидента за спину и готовился его связать. Шакал, опустив голову, покорно ждал. Эта покорность чуть и не сгубила Свиридова. Он спокойно опустился рядом с резидентом на колено и полез в свою суму, что висела у него на боку, должно быть за верёвкой. Как у Шакала в руках оказался нож, было неведомо, Куприхин только успел заметить, как занёс он его над спиной Свиридова,— кинулся наперерез и успел подставить руку. Удар пришёлся скользящий и только вспорол бушлат. Одессит резко крутнул запястьем, как учили на занятиях по самбо, и финка резидента отлетела далеко в сторону. Этого мгновения оказалось достаточно. Свиридов не растерялся. Через минуту Шакал, связанный по рукам и ногам, уже лежал на боку с кляпом во рту.

Рукав куприхинского бушлата потемнел от крови. Свиридов вспорол его резидентской финкой, которая, как говаривали, была из дамасской стали, и перевязал одесситу руку. Порез был неглубокий.

— До свадьбы заживёт,— сказал Свиридов.

— Как на собаке,— кивнул одессит.

...Всходило солнце.

Из-за гор, из-за леса брызнуло огненным циклопическим глазом и заискрилось, заплясало живым оранжевым пятном по озеру, разлилось во всю его ширь от нашей до сопредельной стороны. И было оно теперь как монолит, одно-единое от края до края — озеро Безымянное, которое с этого памятного часа, когда закатилась удачливая звезда резидента, и стало прозываться Свиридовым.





Олег Смирнов

ПОИСК

Вертолёт приближался, отбрасывая на землю тень. Я задрал голову, помахал зажатой в кулаке панамой. С низким, тарахтящим гулом вертолёт прошёл над нами и полетел дальше. Я и махать перестал: высота всего метров сто, неужто не обнаружили нас?

Но машина заложила вираж, развернулась. В порядке, видят! Она ходила кругами, и кругами ходил гул над головой.

Иван Александрович, начальник пограничной заставы, выбежал на сравнительно ровную площадку между барханами, сделал отмашку руками, и вертолёт завис, снижаясь. Мы отошли, укрываясь от воздушного потока. Выметая площадку, ветер вздымал и гнал песок и колючку.

Вертолёт как бы застыл на месте, затем плавно опустился и мягко коснулся песка. Лопасти винта замедляли своё вращение, хвостовой винт тоже останавливался, вертолёт твёрдо стоял на земле. По борту желтела цифра «15», ближе к хвосту выделялась красная звезда, подчёркнутая белой линией. Дверь кабины отворилась, на песок сошёл белокурый борттехник в синем комбинезоне:

— Привет пехоте.

Стернин ответил:

— Привет сыну неба.

Из вертолёта прокричали:

— Лейтенант! Выгрузку — в два счёта!

— Есть в два счёта, товарищ капитан! — отозвался борттехник.

Из двери, согнувшись, вышел высокий плечистый майор — из штаба отряда, за ним инструктор с собакой, радист с рацией, два солдата и командир корабля со штурманом — чёрные от загара капитаны в зелёных фуражках с авиационными кокардами.

Иван Александрович поздоровался, спросил:

— Почему задержались?

— Вели поиск с воздуха,— майор кивнул в сторону командира.

— Нарушителей не обнаружили?

— Нет. Но старались, изрядно старались.

— Что ж, лучше поздно, чем никогда,— сказал Иван Александрович.— Сейчас всё уточним, решим... Однако сперва надо напоить солдат водой.

Я слушал их разговоры и смотрел на Рекса. Не овчарка — волк. Большая, злобная, рвётся с поводка. Старший сержант Самусевич наматывал на руку поводок, глядел поверх меня и Сильвы. Мы с Сильвой поскромней, в медалисты не лезем, со временем будем работать по следу без поводка. А вы с Рексом зазнались, блеск медалей ослепил вас обоих. Нынче Сильва показала себя неплохо и ещё покажет. Да, показать ещё придётся.

Перед тем как появиться вертолёту, мы с Иваном Александровичем обнаружили: следы обогнули бархан справа и слева и не встретились, они расходились дальше и дальше. Иван Александрович с досадой сказал:

— Нарушители разделились, уходят в одиночку. Понимаешь, чем это пахнет?

— Понимаю, товарищ капитан,— сказал я.

Так что вертолёт подоспел вовремя. Группа из отряда должна была подменить нас, обессилевших, измочаленных. Теперь же ситуация менялась: мы с Сильвой будем продолжать идти по следу с приметным скошенным каблуком, отрядные — со знаменитостью Рексом — станут на левый след. Им-то что, свеженькие...

Из вертолёта опустили термос с водой. Полный термос

воды! В тени от вертолёта я вылил воду из фляжки в согнутую ладонь — Сильва вылакала, вылизала шершавым языком. Я зачерпнул кружкой из термоса. Сильва вылакала с ладони и эту воду, и ещё кружку.

— Больше не хочешь? — спросил я. И Сильва, будто поняв мой вопрос, повела мордой вправо и влево.

— Пей, Грицко! — сказал Шаповаленко и залпом выпил кружку.— Ах, красота! Пей!

— Успеется,— сказал я.

Наполнил флягу, завинтил, перевернул, проверяя, не протекает ли. Стараясь не жадничать, выпил глотками: жажда лишь сильней. Выпил другую кружку, третью. Скорей бы дошла очередь до четвёртой!

Две эмалированные кружки ходили по кругу: Иван Александрович пил строго, сосредоточенно, Рязанцев вымученно улыбался, зачем-то вытирал губы носовым платком, Шаповаленко осушил единым махом, передавая кружку, восторгался: «Ой, сладкая, даром что солёная!» — Стернин расплёскивал воду по подбородку, довольно крякал.

Отрядные и вертолётчики смотрели на нас, смотрели, и командир машины сказал, сбив на затылок фуражку:

— Вкусно, черти, дуете, самому захотелось! У экипажа канистра, наш энзе, отдаём, пируйте!

Борттехник достал из кабины канистру, открыл. Иван Александрович сказал нам:

— Пейте досыта. Но полканистры оставьте товарищам из отряда и экипажу.

Попили из канистры, угостил я и Сильву. Жажда заглохла. Поесть бы, поспать! Сбрасывая сонливость, оглядел наших: рослого Рязанцева, здоровяка Шаповаленко, узкоплечего Стернина. А какая фигура у Ивана Александровича? Без примет, обычная.

Майор из штаба обменялся с Иваном Александровичем рукопожатием: «Успехов, капитан».— «Взаимно». Командир-вертолётчик сказал: «Счастливо, черти»,— и отрядная группа, ведомая знаменитостью Рексом, устремилась по следу.

Вертолётчик и нам сказал: «Счастливо», Иван Александрович кивнул, мы вышли из тени, двинулись за Сильвой. Было часа два, солнце палило неимоверно. Сильва прорабатывала след, слабо натягивая поводок. Я её не понуждал. К чему? Силёнок у неё в обрез, израсходуется преждевременно, если неволить. Темп удовлетворительный, подольше бы

выдержала. Я шёл за Сильвой и осязал, как проступает, щекоча, пот на коже — и уже капли, уже струйки; смешно булькая, в животе туда-сюда переливалась вода.

Миновали бархан, другой, и если бы обернулись, то вертолёта за барханами не увидели бы. Но оглядываться было некогда и не к чему: наша дорога — вперёд. Мы идём на север, отрядная группа — на северо-запад. Я убеждён: они вскоре настигнут своего «подопечного». С нашим позаковыристей: мы измочалены, вымотаны. И Сильва тоже. Даже больше нас. Было ощущение: преследуем как бы сначала, с отправной точки. Понятия о времени — никакого, в голове ералаш, точно не определить, вероятно, преследование ведём часов семь. Как выражается Иван Александрович, на всё про всё семь часов. А сколько предстоит? Меньше, ведь нарушитель близок.

Пески кое-где поросли гребенчуком. Весной он цветёт белыми, розовыми, лиловыми, красными гроздьями, как у сирени. Запах сладкий, дурманный, пчёлы роятся — откуда берутся в пустыне? Летом гребенчук пропылён, поник. От куста к кусту прошмыгнул варан, вылитый крокодил, выполз на вершину бархана, вздёрнул морду.

На смену гребенчуку — верблюжья колючка, перекати-поле. Барханы до горизонта, куда ни глянь — бесплодные, дикие пески. Ни души. Из людей здесь, наверное, лишь мы — пограничники и нарушители. Не убеждён, однако, что тех, кого мы ловим, следует называть людьми. Более подходяще — двуногие.

Пески, пески, пески... Великая пустыня Каракумы, где её край? Где-то есть другая Туркмения: хлопковые поля, виноградники, тутовники, нефтяные вышки, и городские кварталы, и заводы, и сейнеры на каспийской волне, и в пустыне же газопроводы, опоры электропередач, восьмисоткилометровый канал, но здесь, у нас, нет даже колодца. Пески, пески, пески...

Два года привыкаю к здешней природе, к барханам, к безлюдью. Тщетно! Иной раз шагаешь в дозоре, и серебристо мелькнёт «ИЛ» или прочертит трассу звезда — не спутник ли? — и радуешься, словно соприкоснулся с громадным живым миром. А когда Алексей Леонов выходил из корабля в космос, я был уверен: он это проделывал надо мной, я находился в наряде, и нам вдвоём было веселей.

...След кружил, петлял, по временам нарушитель заме-

тал его, таща за собой ветку. Я давал Сильве обнюхивать эти брошенные ветки, она снова становилась на след. Умница. Как ей приходилось туго, понимал до конца, видимо, я один. Она оседала на задние лапы, брюхо доставало до земли. Я жалел собаку. Однако жалей не жалей, двигаться надо. Люди двигаются, и собаке надо.

Спасибо вертолётчикам, они нас напоили всласть. Там, у вертолёта, думалось: напились с запасом на три дня. Но спустя час жажда возобновилась ещё острей. Обливаясь потом, я ловил пересохшим ртом знойный воздух. Бока у Сильвы вздымались и опадали так, что смотреть было больно. Я налил ей воды в ладонь. Иван Александрович сказал:

— Ребята, пейте без команды. По мере надобности. По нескольку глотков. Воду подольше держите во рту, прополаскивайте горло.

Сильва утеряла след, не сразу отыскала его, металась в растерянности, тычась носом в песок и колючки, повизгивая.

Снова радостно-тревожное восклицание Ивана Александровича:

— Нарушитель! На бархане!

Сколь ни напрягали зрение, ничего не обнаружили. Не почудилось ли Ивану Александровичу? Он рассердился:

— Я в здравом уме и памяти. Может, глаза позорче, чем у молодёжи? Нарушитель — пятнышко, сливается с покровом. Да и позировать не в его планах, скрылся.

Я продвигался за Сильвой отупелый, со звоном в ушах, и чем неаккуратней, жёстче ступал, тем раскатистей отдавался звон. Сердце трепыхалось. Чудилось: оно расширяется, расширяется, лопнуло бы, если б его не ограничивала грудная клетка.

Сколько прошли? И сколько ещё пройти?

Голос Ивана Александровича:

— Всем слить воду во фляжку Владимирову!

Он перелил свою воду, за ним — Рязанцев и Шаповаленко. И Стернин.

— Владимиров, поить только собаку.

— Слушаюсь, товарищ капитан.

Сильва вылакала, я налил опять. У солдат напряжённые шеи, скулы обтянуты бурой истрескавшейся кожей, белки красные. Сильва лакала громко, жадно, солдаты, облизывая чёрные, в запёках, губы, отвернулись.

Два километра позади. Сильва легла. Я дал ей воды, она поднялась. Через километр снова легла и снова встала.

И в третий раз лапы у неё словно подломились. Выпила последний глоток, во влажных глазах — просьба о добавке. Я сказал:

— Выпили водицу.

Подержал флягу над ладонью, сжимая, будто можно было выжать лишнюю капельку, смочил носовой платок, протёр Сильве ноздри.

— След, Сильва, след!

Она поднялась, встряхнулась, вильнула хвостом и пошла, покачиваясь.

Полкилометра — и она упала, ударившись мордой и заскулив. Я погладил её, попробовал приподнять — тело мелко дрожало, морда бессильно клонилась. Сильва лизнула мои пальцы, заскулила.

— Товарищ капитан, Сильва не в состоянии работать.

— Вижу, Владимиров,— сказал Иван Александрович.

Я бы прикоснулся лицом к собачьей морде, назвал бы ласково, но инструктор не должен баловать животное. И так уж я допускаю поблажки, с языка срывалось: «Сильвочка»,— знать, неважный я инструктор.

Овчарка не брала след, отказывалась от работы. Я поднял её на руки, она виновато скулила.

— Обойдёмся без Сильвы,— сказал начальник заставы; голос уверенный, жесты энергичные, глаза твёрдые, неунывающие.— Стернин, налаживай связь...

Стернин прикрепил проводную антенну к антенне со штырями, привязал к ветке саксаула, вышла довольно высокая антенна. Надел наушники:

— «Черёмуха», «Черёмуха», я — «Вилы-один», я «Вилы-один...»

— Ну, что? — спросил начальник заставы.

Стернин предостерегающе поднял палец, прикусил губу.

— Ну?

И вдруг Стернин заорал в микрофон:

— Всё понял!

Сорвав наушники, заорал уже нам:

— Отрядные настигли нарушителя!

— На полтона ниже, мы не глухие,— сказал начальник заставы.— Членораздельно!..

— Есть членораздельно! — Стернин сглатывал комок, об-

лизывался, вертел головой.— Майор Афанасьев ставит в известность: нарушитель настигнут, отстреливался, видя, что окружён, разгрыз ампулу с ядом, вшита в воротник.

— Так,— сказал начальник заставы.— А мы постараемся взять живьём!

Легко сказать — живьём. Сперва догнать бы.

— Обойдёмся без Сильвы. Действовать будем так: рассредоточимся, растянемся по фронту метров на двести и двинем, отыскивая след...

Я потянул ремень на две дырочки туже. Сколько дырочек в запасе, может, не хватит? А нарушитель — субъект серьёзный, птичка отпетая, с ним повозимся, судя по тому, как вёл себя напарник. Не сдался, отравился. Цианистый калий? Безотказное и мгновенное действие. Этого, нашего, надо взять живым!

Я оступился, в коленке хряскало, в саксаульнике царапнул щёку — ссадину разъедало по́том. Справа, метрах в сорока, Шаповаленко, слева — Стернин, у меня собака на руках, у Рязанцева рация за спиной, теперь мой черёд тащить, подкладка спасает мало, железный ящик наддаёт.

Следа не видно, песок нетронутый. Кто-нибудь увидит, даст знать — не голосом, взмахом, так условились. Кричать нет голоса, разве что начальник заставы не потерял его. Поэтому надо глядеть и перед собой, в своём секторе, и на соседей.

Я взмахнул панамой — все стянулись ко мне. Долго шли по петлявшему, будто заблудившемуся следу. Потеряли за барханом — рассыпались веером. Махнул начальник заставы — сошлись к нему. Я тоже нашёл след. Заплетающийся, косолапый, он засасывался песком.

Солнце опускалось, однако палило по-прежнему. Нагибаясь над следом, я снял очки и в глаза будто плеснули жидким, расплавленным металлом. От солнца не уйти, не укрыться. Я ненавидел его сейчас. Вспоминал душ в заставской бане — заскочи потный, разгорячённый и обливайся прохладной струёй хоть до насморка, до простуды. И тень на заставе: заросшие деревья дарят её — пользуйся. Территория в посадках, на заставе традиция: прибыл служить — посади деревце. И я посадил свой тополь в отводе от арыка — принялся, выпустил лист. И ещё десяток саженцев воткнул я в туркменскую землю, как раз на годовщину Советской Армии.



И чай на заставе великолепный: ароматный, горячий, жажду снимает. И не замечаешь, что вода солоноватая. До призыва я пренебрегал чаем, в Туркмении пристрастился. Приеду — мама удивится: водохлёб!..

Негнущимися, распухшими пальцами нащупывал флягу, отцеплял с пояса, встряхивая, словно могло перелиться, плеснуться, булькнуть. Ни глотка. Ни капли. Начисто сухие стенки. Таясь товарищей, прицеплял флягу. Как ни в чём не бывало. Мол, я держусь. Привет.

Но я ковылял, и уже это было неплохо. Двигаюсь. Не отстаю. Я читал в книжках о втором дыхании, которое появляется у вымотанного человека: перемогся — и обретаются силёнки. У меня было второе дыхание, и третье, и ещё какое? Казалось: упаду, закачавшись, и не поднимусь. Я шёл, не падал и вроде бы терпимее становилось. Второе и ещё какое дыхание... Не падал.

Мягкий, напевный звон щекотал барабанные перепонки, рос, крепчал, превращался в блаженную, неземную музыку. Знаю, что на самом деле нет никакой музыки, просто игра воображения, но — приятно. Музыка — и прочь жажда. Пей музыку. Не каплями, не глотками, не кружками — взахлёб, рекой.

Сошлись группой, и Шаповаленко сказал:

— Гад ползучий, не достанешь до него, шоб ему...

Сказал? Я оговорился: не сказал — прохрипел, прошипел. И Шаповаленко, и Рязанцев, и Стернин — все — не говорят, а натужно хрипят. Говорит начальник заставы, который возрастом покруче нас, здоровьем пожиже.

Он сказал:

— Ребята, мало не терять след, надо догнать нарушителя. Поднажмём!

Насчёт поднажать не ручаюсь, не упасть — вот задачка.

Размытые, преломленные на знойной дымке видения, короткие и отрывочные: июньский закат, в приречном ивняке щёлканье соловьёв и кваканье лягушек.

Я думал об этих видениях и о том, что солнце прожигает одежду, жажда скребётся в глотке, нарушитель косолапит, неутомимый. Двужильный он, что ли?

А иногда ни о чём не думал. Брёл и брёл с пустой, гудящей головой, не сознавая, куда и зачем. Внезапно бездумность проходила, и я пугался: не просмотрел ли я в эти минуты след?

В межбарханной лощине след утерялся и не находился — не по моей ли вине? Во всяком случае, показалось: я резвей остальных кружил по лощине, согнувшись в три погибели, оглядывая песок метр за метром.

Нашёл Шаповаленко, помахал, прохрипел нам:

— Ось тут.

Стернин одними губами произнёс:

— Не загнулся, землячок?

Не было воли раскрыть рот, я вяло шевельнул рукой: дескать, жив.

— А что, землячок, сыграть в ящик в данных условиях возможно.

Начальник заставы сказал:

— Стернин, не точи лясы, побереги силы. Пригодятся.

Голова раскалывалась, боль из неё будто токами крови разносилась по всему телу: болела грудь, спина, поясница, ноги. Что с головой? Не солнечный ли удар на подходе? Или тепловой? Или другая хворь? А впрочем, не печалься об этом. Иди, пока идётся, там будет видно. Никто ещё не упал. И ты не падай. Иди.

— Поднажмём! Нарушитель выдохся, он недалеко...— это сказал начальник заставы.

Нарушитель выдохся? И я также. Но поднажать нужно, поднажми, а там умирай. Ну, помирать нам рановато, как поётся в песне. Не умирай — выложись.

— Ребята,— сказал начальник заставы.— След утерян.

Мы остановились.

Я не узнавал ни его голоса, ни голосов товарищей: расслабленные фигуры, лица осунулись, носы и скулы выпирают, на потрескавшихся щеках и губах кровь, сняли очки — глаза ввалившиеся, лихорадочные, синева в подглазьях. Наверное, и я такой. Если не хуже.

— Нарушитель... на... бархане...— выдохнул Стернин.

— Что? Где?

— Где он?

Я не спрашивал, я увидел: серый силуэт покачивается на гребне, сходит по обратному склону, скрываются ноги, потом туловище, потом голова.

— Вперёд! — сказал начальник заставы.

Нарушитель спустился с бархана. Там, где стоял он секунду назад, переливалось марево.

И барханы расплылись, и солнце, и начальник заставы

заволоклись мутной плёнкой. Переставлял ноги, как в темноте. Как безлунной и беззвёздной ночью. Мысль: что это, не потерял ли зрение?

Постоял, отдышался, и пелена спала, цветной мир обрёл свои краски, но очертания его нечёткие, сдвоенные, будто не найден фокус.

Нарушитель выходил из-за гребня и пропадал. Он оглядывался, но лица не разобрать: расплывалось — это раз, а два — начальник заставы сказал:

— Мы на том же расстоянии, не сближаемся.

Ясней ясного. А как же рывок?

— Поехали, ребята,— сказал начальник заставы и пошатнулся.

Он шёл, шатаясь, и мы шатались.

И нарушитель шатался и шёл.

И мы и нарушитель не ближе, не дальше — на прежнем расстоянии.

Упал Шаповаленко, неловко, подвернув под себя руку. Мы окружили его, бледного, разевающего рот, но он очнулся, без посторонней помощи встал на колено, на другое, выпрямился. Начальник заставы спросил:

— Можешь двигаться?

— М-м... попытаю...

— Поехали!

За Петром свалился я. Дурнота подступала, окутала, как под коленки кто ударил — они подломились, и я рухнул на песок. Сердце замирало, рябились круги, но я увидел склонившегося надо мной капитана и услышал вопрос:

— В сознании?

Меня перевернули на спину, приподняли голову. Стернин замахал панамой перед моим ртом, по-рыбьи хватавшим воздух. Атмосферу создаёт. Как слабаку. Позор. Наливаясь злостью на самого себя, сказал:

— В сознании.

Не прохрипел, а сказал. Так мне показалось.

Подхватили под мышки. Когда подняли, я оттолкнул чью-то руку. И устоял. И шагнул. Не буду хвастать, не очень чтоб уж твёрдо.

Врёшь! Добреду, доползу!

И тут я увидел нарушителя. Мы вскарабкались на бархан, до следующего метров сорок, и на том, следующем бархане, лежал нарушитель. Я остолбенел: в сорока метрах?

Значит, мы выдохлись, но он ещё больше выдохся. Помотал нас, но и сам слёг.

И все опешили, стояли, смотрели: маскируясь кустиком зелёной верблюжьей колючки, раскинув ноги, как на стрельбище, мужчина-глыба уставился на нас, под высокой каракулевой шапкой смуглое лицо.

Было тихо. И в этой тишине неправдоподобно громко вжикнула пуля. Мы пригнулись. Птичка запела? Нервишки? Добро. Но отчего не было слышно выстрела? Пистолет бесшумного боя?

— Шаповаленко и Стернин, заходите слева, Рязанцев — справа. Владимиров с собакой прямо,— приказал начальник заставы.— Владимиров, спустишь её по моей команде. Берём живым. При необходимости — стрелять по ногам. Выполняйте!

Вслед за командиром, пригнувшись, я сошёл с бархана, пополз по-пластунски, опираясь на автомат. Я пахал песок локтями и коленями, в ноздри попадала пыль, взбиваемая ботинками капитана — они елозили перед глазами, сверкали стёртыми подковками. Жёлто-серый песок, зелёная верблюжка, солнечный блеск подковок — чем не цвета жизни?

Мы окружили бархан, и положение нарушителя становилось безвыходным. На что он надеялся? Подороже продать жизнь, выстрелом уложить кого-нибудь из нас? Мы подползали с трёх сторон, хоронясь за колючку. Выше и выше. Ближе и ближе.

Мы с капитаном первыми выдвинулись к гребню. Капитан высунулся, осмотрелся. Я тоже выглянул. Нарушитель на гребне вертел головой то туда, то сюда; заметив когонибудь, вскидывал пистолет, стрелял.

«Крутишься как белка в колесе,— подумал я.— Докрутишься. Коли не сдаёшься».

Нарушитель поднял пистолет, выстрелил, и начальник заставы охнул. Я с опозданием отметил: пуля не жикнула, не прошла мимо, угодила! В капитана угодила? Обламывая колючку, метнулся к нему:

— Товарищ капитан, вы ранены?

— Кажись.— Он морщился, прижимал обвисшую руку.— В плечо клюнул.

— Я перевяжу вас...



— Отставить!

Из раны сквозь рубашку вытекала кровь, капала на песок. Я неотрывно смотрел на эти алые капельки. А начальник заставы крикнул нарушителю:

— Бросай оружие! Руки вверх!

Вжик, вжик...

— Владимиров, собаку!

Я кричу:

— Сильва, фас!

Словно забыв о ране, капитан встал в полный рост:

— Вперёд!

Сняв автомат с предохранителя, я подумал: не отстать бы от капитана. На гребень вымахала овчарка — лает, скалит пасть, загривок вздыблен, скачками подбежала к нарушителю. Он обернулся, вновь поднял пистолет и выстрелил в овчарку, и она, будто оступилась, упала с пронзительным визгом.

Нарушитель выстрелил в меня, развернувшись — в Шаповаленко и Стернина. Ещё развернётся — и в нас, в капитана? Мне надо стрелять. Не попасть в своих. Не уложить его наповал. По ногам!



Я нажал на спусковой крючок, очередь гулко протарахтела над барханом, нарушитель выронил пистолет. Я потянулся было к нему, чтобы схватить, но он опередил меня. И тогда сзади навалились Шаповаленко и Стернин.

У нарушителя выбили пистолет. Щёлкнули наручники. Мы сгрудились, тяжело дышали.

Нарушитель напряг мышцы, словно испытывал наручники на прочность, затем расслабился.

Стернин и Рязанцев почти одновременно достали индивидуальные пакеты:

— Товарищ капитан, разрешите перебинтовать?

— Давай. А ты, Шаповаленко, окажи помощь задержанному. По-моему, ранен ниже колен.

Шаповаленко пробормотал:

— Я б ему, гаду ползучему, оказал помощь, век бы не захотел...

Я пробормотал:

— Товарищ капитан, я осмотрю Сильву... перевяжу...

— Давай.

Овчарка ползла к нам, волоча задние лапы. Я вскрывал индивидуальный пакет.

— Наверное, пуля в позвоночнике... Зад парализован... В Ашхабаде я видел кошку с повреждёнными позвонками, горе-горькое...

Шаповаленко штыком распорол нарушителю брюки, перевязывал мясистые волосатые икры — на бинтах красное пятно.

Стернин помог раненому капитану Долгову надеть гимнастёрку, застегнуться. Он сказал:

— Спасибо, лекарь. Что с Сильвой?

— Пуля застряла в позвоночнике. Входное отверстие есть, выходного не сыскать. Не жилица она, Сильва...

— Это ты оставь,— сказал начальник заставы.— У нас ветеринары чародеи, спасут.

Нарушитель недвижим — по брови ему надвинули слетевшую в схватке шапку, коверкотовый пиджак измят, штаны окровавлены, смуглое лицо побледнело, вокруг рта глубокие складки. Кто он — русский, туркмен? Скорей, полукровок. Сколько лет? Какой судьбы? С чем пожаловал? Интересно. Но с этим разберёмся не мы, есть люди, которые разберутся. Наше дело было задержать. Задержали. Не осрамились.

Капитан Долгов сказал:

— Отдышались? Стернин, включайтесь в связь.

Стернин принялся натягивать провод. Покуда натягивал антенну, Долгов и Шаповаленко обыскивали задержанного: пачка десятирублёвок, перехваченных резинкой, бумажник, обоймы к пистолету, складной нож, фляги — пустые, из воротника выпотрошили ампулу, для страховки. Когда брали, самоубийством не покончил. А ну надумает? И руки связаны — этак надёжней.

Долгов присел на корточки, спросил у задержанного:

— Ваша фамилия? Имя? Цель перехода границы?

Нарушитель не отвечал.

— В отряде разговорится,— сказал капитан Долгов.— Стернин, готов?

— Так точно, товарищ капитан.

— Передавай. В 16.15 нарушитель задержан в квадрате 2541.

Рация вертолёта работала на приём. Стернин сообщил об окончании преследования, о наших координатах. С воздуха ответили: молодцы, ожидайте. Слышимость была плохая, аккумуляторы садились. Да больше и не надо. Рация вертолёта продублирует сообщение на заставу, для начальника



отряда, десять минут — и вертолёт будет здесь. Порядок в пограничных войсках!

Мы, развалившись на песке, отдыхали. Для полноты блаженства недоставало солоноватой каракумской водички, которая в данной ситуации слаще мёда.

...Вертолёт застрекотал, стремительно близился. На сей раз мы не орали «ура!», приподнялись на локтях, проследили, как машина покружила, развернулась, зависла, спускаясь.

Покачиваясь, мы подошли к вертолёту. Дверца отворилась, спрыгнули капитаны, за ними лейтенант.

— Вытаскивай термос, будем поить хлопчиков,— сказал командир борттехнику.

Водички мы попьём. Всласть. От души. Отвинтили крышку термоса. Вода!

Я напоил раненую Сильву, напился сам.

Мы пили. Капитан Долгов поил нарушителя. Лишь когда нарушитель напился, Долгов сполоснул кружку и стал пить. С чувством, с толком, с расстановкой.

Прикончили термос, открыли канистру. Жажда гасла, и пробуждался голод. Вертолётчики предложили нам хлеб, консервы. Долгов положил на ломоть хлеба кусок мяса, подал нарушителю. Тот сказал на чистейшем русском: «Не хочу» — и отвернулся. Долгов невозмутимо откусил от бутерброда.

Первым в вертолёт посадили нарушителя: бережно, как стеклянного, уложили на пол, застланный дорожкой, под голову — свёрнутую телогрейку.

Командир корабля сказал:

— Не перепачкайте дорожки.

— Не перепачкаем,— сказал Долгов и, поддерживая раненую руку, опустился на сиденье.

Я устроился рядом с капитаном, напротив круглого окошка. Борттехник закрыл дверь, поднялся по лесенке в пилотскую кабину.

Вертолёт оторвался от земли, набрал высоту. Грохот и треск мотора, временами машину встряхивало, словно она оступалась на выбоинах. Было душно, донимали непонятно как оказавшиеся в вертолёте мухи.

Я упёрся лбом в оконце. Внизу — пустыня: серые барханы, зелёные пятна колючки, саксаульник, гребенчук. Пустыня, которую мы преодолевали полсуток в муках и которую

вертолёт шутя преодолеет за каких-нибудь двадцать минут. Даже обидно стало.

Пески не были безлюдными: отара, сопровождаемая волкодавами, на ишаке — чабан; верблюжий караван, меж горбами — мешки, на переднем верблюде — туркмен: видимо, везёт продукты.

Нам же во время погони никто не попадался, ни единой души не было.

Застава увиделась издали: пограничная вышка, водонапорная башня, забор, в зелени деревьев — розовое и белое: казарма, офицерский дом, баня, конюшня, питомник, склады, гараж. Из казармы выскакивал народ, спешил к посадочной площадке.

Вертолёт наклонно разворачивался: проплыли проволочный забор, контрольно-следовая полоса, посадочная площадка — сто метров на сто, в центре площадки двадцатиметровый меловой круг, в центре круга точка. На эту точку и нацелился вертолёт. Его ещё основательнее затрясло, замотало.

Когда машина приземлилась и грохот утих, мы ещё не скоро пришли в себя: как оглушены, уши заложило. Борттехник раскрыл дверь, командир корабля сказал:

— Хлопчики, выметайтесь.

Мы вышли. Земля покачивалась, точнее, мы покачивались. На краю площадки группа офицеров из отряда, замполит Курбанов, солдаты заставы, жена капитана Долгова, детишки. От группы отделился начальник отряда, рослый, тучноватый, размашистый в шагу. Капитан Долгов пошёл ему навстречу, козырнул:

— Товарищ полковник...

— Ты ранен? — перебил его начальник отряда.— В плечо? Серьёзное ранение?

— Пустяки, — сказал Долгов.— До свадьбы заживёт. А так как свадьба у меня была уже, то заживёт и раньше.

— Полетишь в отряд, в санчасть. А теперь докладывай...

Пока капитан Долгов докладывал, я разглядывал полковника. Энергичный подбородок, усики каштановые, виски седые — ещё в войну служил на границе. Полковник больше времени пропадает на заставах, чем в штабе. Он хороший охотник, завзятый лошадник. На лошади скачет лихо и на газике предпочитает ездить с ветерком.

Полковник выслушал Долгова, пожал руку и ему и нам, сказал:

— Поздравляю с успехом, товарищи пограничники!

Мы гаркнули:

— Служим Советскому Союзу!

К Долгову подошла жена, дети. Он обнял её здоровой рукой, взъерошил волосы сыну и дочке:

— Выше нос, Долговы! Подлечусь!

Жена капитана казалась растерянной, детишки жались к отцу.

— После поговорите,— сказал полковник.— Сейчас в машину. Собачку тоже увезём лечиться. Курбанов, останешься за начальника.

— Есть, товарищ полковник! — ответил замполит.

До заставы можно дойти пешком, но нас усадили в газик, бережно повезли.

...Нам помогли раздеться, не знали, куда усадить, чем попотчевать, наперебой расспрашивали: как преследовали, как задерживали, как, как, как... Рязанцев сказал: «Потом, потом. Слабость одолела».

Прав Рязанцев: после расскажем.

Кое-как поели, добрались до кроватей. Я лежал плашмя и словно погружался в пучину, а надо мной смыкались звуки: воркование одичавших голубей на водонапорной башне, зуммер в комнате дежурного, топот ботинок по коридору.

«Жизнь входит в свою обычную колею»,— подумал я и заснул.





Владимир Дружинин

СИГАРЕТА

Граница, на которой служит капитан Нестеров, не обозначена ни знаками, ни столбами.

Однако видна она отчётливо. Так отчётливо, что ошибиться невозможно. Здесь, в торговом порту, край советской суши. Теплоход под чужим флагом — частица иностранного государства. Оттуда, по существу из-за границы, перекинуты на берег сходни. И тут, на бетоне нашего причала, охраняют рубеж воины в зелёных фуражках.

В других местах пограничные наряды ходят по лесным тропам, сыпучим пескам или по каменистым гребням гор. Здесь же — берег, скованный бетоном, ровный и гладкий.

Однако служба здесь не легче, а во многом сложнее. Зарубежный мир — вот он, лицом к лицу, ежечасно, ежеминутно!

Обычно у каждого парохода — один наряд. Один солдат, у сходней, проверяет документы у всех, кто выходит на сушу или поднимается на судно. Другой, младший наряда, ходит по причалу, наблюдает.

Особенно много забот у пограничников летом, в разгар навигации. Пора горячая — в порт идут суда со всех концов света! Горы ящиков, бочек, мешков, строевой лес, новенькие, пахнущие краской тракторы, ещё многое-многое другое...

Хлопочут подъёмные краны, транспортёры — там они загружают суда, тут выносят товары из трюмов, опускают на берег. Всё это добро, пёстрое, с надписями на разных языках, образует теснины, ущелья, сложнейшие лабиринты. Среди всевозможных грузов шныряют юркие паровозы на подъездных путях, свистят.

Капитан Нестеров полюбовался бы вдоволь картиной порта, но времени свободного не было.

Он вырос у моря и никогда не расставался с ним надолго. Любит его спокойным и буйным, в шторм и в штиль. С детства читал названия судов — они двигались мимо окон дома, где вырос Нестеров, сын смотрителя маяка.

И каждое судно словно таило в себе загадку. Что значит, например, «Фимбульвинтерн»? Нестеров-школьник не успокоился, пока не расшифровал имя норвежского лесовоза. Оказывается, это зима, жестокая, смертельная для всего живого, зима древних скандинавских легенд. Боги наслали её на землю, и длилась она много-много лет...

На корме судна, рядом с названием, обозначен и его родной порт — такими же белыми буквами, но помельче. Лондон, Йокогама, Александрия, Буэнос-Айрес... Отыщешь их на карте, прочитаешь в книжке, и тогда нетрудно будет вообразить себя самого в дальнем плавании, в удивительных заморских странах.

У Нестерова дома скопились географические очерки, альбомы с фотографиями, карты. Эта библиотека всё время пополняется. И капитан часто рассказывает солдатам о путешествиях, о жизни моряков всех широт.

— Вы и сами плавали? — спрашивают его.

— Нет, мне, к сожалению, не пришлось,— отвечает Нестеров.— Я всё время на границе...

Молодым солдатам не верится — очень уж увлекательны рассказы капитана. Новички убеждены, что капитану просто нельзя говорить о себе. Небось ездил повсюду с секретными заданиями...

Нет, Нестеров за рубежом не был. Плавания у него короткие — на катере в открытом море, до того места, где кончаются советские воды и начинаются международные, ничейные. Там перед катером вырастает стальная громада с чёрными, уходящими ввысь бортами и замедляет ход, останавливает машины.

По заведённому обычаю, первым поднимается по шаткому

трапу — деревянным ступеням на двух канатах — портовый врач. Его обязанность — выяснить, нет ли на судне больных. За ним вступают на палубу пограничники, сотрудники таможни. Капитан и его помощники проверяют документы пассажиров и команды и там же — на судне — выдают разрешения для схода на советский берег. Одна и та же процедура изо дня в день, из года в год...

Многие лица уже знакомы Нестерову. Не раз посещал нашу страну Арнольд Вендель, шестидесятилетний коммерсант из Кёльна, розовый, улыбающийся толстячок. Подавая паспорт Нестерову, он буквально расплывался в улыбке.

— Я опять к вам,— сообщал он по-русски.— Я не могу без России, абсолютно нет!

Из всех туристов Вендель самый неутомимый. Ему мало было тех музеев, памятников, дворцов, которые полагалось осматривать по программе, всей группой. Ещё перед поездкой к нам он выискивал в книгах достопримечательности, не названные в программе,— старинную церковь или господский дом с какими-то особенными украшениями. Так как это обычно интересовало только его одного — его спутники вечером ходили по магазинам или просто гуляли по городу,— Вендель отправлялся один.

Кроме того, Вендель стал известен в городе как заядлый коллекционер. Лацканы его пиджака отвисали под тяжестью значков — одни, иностранные, он привозил для обмена, другие, советские, собирал.

— О, у меня гигантическая... гигантская коллекция! — хвастал Вендель.— Больше как пять тысяч значков.

Собирал он также открытки, марки, карандаши.

Ни в чём предосудительном Вендель замечен не был. Правда, иногда к нему обращались юркие молодые люди, желавшие купить заграничные вещи, а потом перепродать втридорога, но Вендель не поощрял спекулянтов. Он ничего не продавал им. Обменяться мелочами, сувенирами — пожалуйста! Конечно, он завёл в городе массу знакомых, одержимых той же страстью собирательства.

— Но я выше всего обожаю искусство,— говорил Вендель.— О, искусство! Это как воздух для меня.

Однажды капитан Нестеров спросил Венделя, полностью ли восстановлен знаменитый собор в Кёльне.

— Да, да, совершенно как новый,— ответил немец.— Там всегда туристы. Миллионы туристов.

Нестеров хотел знать подробнее: какие скульптуры уцелели, пережили войну, сохранилась ли хоть часть витражей, или все эти замечательные окна из стеклянной мозаики бесследно погибли?

— Кажется, все. Да,— сказал Вендель.— Я точно не помню... Думаю, стёкла все новые...

Житель Кёльна, любитель искусства — и так плохо знает отечественные сокровища! Нестеров огорчился. Он не раз мысленно гулял по старинному городу на Рейне, любовался тамошним собором — одним из самых грандиозных, построенных европейцами в средние века.

Вскоре капитан забыл об этом разговоре. В конце концов, чему тут удивляться! Есть такие люди, которых влечёт лишь чужое, а своё, привычное, уже перестало занимать.

В один прекрасный день вдруг обнаружилось, что Вендель не так прост и ясен, как казалось.

В том же портовом городе, где служил Нестеров, милиция напала на след крупного спекулянта.

Милашкин, как звали спекулянта, успел скрыться, но в его комнате нашли целый склад товаров из-за границы. Там были плащи, рубашки, бельё, духи, свитера иностранных марок. Приятель Милашкина, задержанный милицией, сказал, что это приобреталось у приезжих и у моряков, а затем перепродавалось. Милашкин стоял во главе шайки дельцов. Кроме того, он охотно скупал доллары, английские фунты, шведские кроны.

Часть этого капитала сотрудники милиции, обыскавшие комнату, вынули из матраса. Под подушкой лежала сумка из синей ткани, на «молнии», туго набитая. В ней Милашкин хранил свой архив.

Оказывается, он держал в запасе два паспорта, удостоверения и справки на разные имена, с печатями разных учебных заведений, предприятий, спортивных обществ. Несколько лет он жил без прописки в разных городах, получал от своих дружков письма «до востребования».

«Отдыхаем в Одессе. Три дня шли дожди, но вот уже пятый день, как погода наладилась».

«Встретил Костю, с которым мы учились в седьмом классе. Он шлёт привет и будет рад увидеть тебя».

Имел он корреспонденцию и за границей. Накопил десят-

ка три ярких открыток, адресованных также «до востребования». Эйфелева башня в Париже, развалины Помпеи, здание парламента в Лондоне, Кёльнский собор... На обороте друзья Милашкина писали:

«Купаемся в Средиземном море, вспоминаем тебя. Возможно, в октябре увидимся».

«Шлём благодарность за приём и русские сувениры».

Подписывались коротко — «Джон», «Тедди», иногда неразборчиво. Ничего не раскрывали эти лаконичные приветы. Но ловкий, осторожный Милашкин зачем-то берёг их, складывал в свою сумку.

Были в ней и фотографии. Милашкин, красивый, с прилизанными волосами, франтоватый, был запечатлён среди иностранцев на набережных у памятников, у входа в загородный дворец. Рослый, ладный парень спортивной внешности. Портила его лицо улыбка — то угодливая, то нагловатая.

Следователь милиции показал фотографии Нестерову, и на одной из них капитан узнал Венделя. Да, он, без всякого сомнения... Положил руку на плечо Милашкина, добродушно усмехается.

Что связывает их? Милашкин — не собиратель значков. А Вендель со спекулянтами не якшался. Тем не менее они нужны друг другу. Сняты на трёх фото, в разные годы. Значит, не случайное ресторанное знакомство. «Очень дорогой друг! — пишет Вендель. — До конца весны я непременно побываю в вашей стране, так как тоска по ней мучит меня снова. Врач настойчиво рекомендует мне морские прогулки, а на «Михаиле Калинине» удобные каюты и хорошее обслуживание».

Вот уже две недели, как Вендель на нашей земле. Встречался ли он на этот раз с Милашкиным? Увы, милиция данными не располагает. Встреча не исключена, вот и всё, что можно сказать. Вендель, как всегда, гулял по вечерам один, пропадал на окраинах города, выискивая какой-нибудь полузабытый памятник прошлого.

Через три дня рейсовый теплоход заберёт Венделя вместе с группой туристов. И стало быть, Нестеров снова увидит его, попросит предъявить паспорт...

Проверка документов, багажа, обычная процедура... И вместе с тем встреча с Венделем должна быть иной.

Это очень неприятно — обмануться в человеке. Хочется

верить, что на поверку всё окажется недоразумением. Возможно, пройдоха Милашкин и рассчитывал на Венделя, но ничего не вытянул из него. А Венделю просто понравился смышлёный парень приятной наружности. Может, Милашкин хорошо поёт или рассказывает смешные анекдоты... Всякое приходит в голову Нестерову. Улик ведь против Венделя нет, возникли лишь подозрения.

Три дня, оставшиеся до встречи, Нестеров вспоминал всё связанное с Венделем. Вспоминал невольно, потому что дал себе слово прекратить бесплодные догадки, не мучиться напрасными предположениями. Ведь в поле зрения пограничников Вендель будет недолго, всего какой-нибудь час, самое большее...

Конечно, сейчас и милиция обратила внимание на Венделя. У неё-то больше возможностей для проверки.

И всё-таки... Если бы было хоть что-то похожее на улику! Привычные слова «усилить наблюдение» уже произнесены в приказе. Но как именно усилить? Во всяком случае, встретить туриста надо спокойно, как ни в чём не бывало. Как доброго старого знакомого...

Утром к Морскому вокзалу потянулись автобусы «Интуриста». Знакомая Нестерову картина отъезда туристского племени, теперь ещё более пёстрого, нагруженного сувенирами. Одни невыспавшиеся, усталые — поздно ночью бродили по городу, прощались с ним. Другие возбуждены перед отплытием, всё ещё высматривают, что бы такое снять на память или зарисовать.

Сотни людей поднимутся по трапу на теплоход, но приказ «усилить наблюдение» относится только к одному. Нестеров ловит себя на том, что с большей охотой проверил бы со всей строгостью вон того хмурого толстяка с бриллиантовой булавкой в галстуке, которому у нас явно не нравится...

Вендель, конечно, набрал сувениров. Идёт, прижимая к себе полдюжины пакетов прямо из магазина. Как всегда, сверкают значки на груди. Безмятежно улыбается спутникам, таможенникам, пограничникам. Он словно объявляет всем: «Я тут свой человек!»

Нестеров почти слышит это. Он прохаживается под гулким сводом вокзала, не спешит столкнуться с Венделем, но и не оттягивает встречу.

Таможенники уже за работой. Тронулся конвейер, двинулась цепочка чемоданов, сумок, свёртков, корзинок. Поехал

пузатый тульский самовар. Автобусы всё подруливают к вокзалу, в обширном зале уже тесно, шумно. Чемоданы, готовые для проверки, часто напоминают чем-то своих хозяев. Бывало, разглядывая багаж, Нестеров пытался угадать, каковы его владельцы. Сейчас не до того.

— Здравствуйте, господин Вендель,— говорит Нестеров.— Как провели время?

Вендель приветлив, весел.

— Прекрасно, господин офицер. Мне разве бывает плохо у вас? Нет, никогда.

— Рад слышать. Теперь домой прямо?

— Не совсем, я задержусь в Бельгии. У меня кое-какие дела в Генте.

Старинный город, богатый достопримечательностями. Нестерова так и подмывает узнать, имеет ли Вендель хоть какое-нибудь представление о сокровищах Гента. Чего стоит одна звонница, на которой больше сорока колоколов, знаменитый медный оркестр, вызванивающий любую музыку.

«Нет, пожалуй, не надо. Если уж Вендель плохо знаком со своим Кёльном... Тогда он сконфузился, кажется, смутился. Нет, не следует спрашивать. Подумает, что я ловлю его...»

Тут Нестеров слегка смутился сам, так как потерял нить беседы. Несколько секунд он молча смотрел на Венделя. Розовое лицо немца выделялось на фоне серой бетонной стены. Он стоял, прижавшись к стене, устал таскать пакеты.

В зубах Венделя сигарета. Она курится плохо, гаснет. Он хочет затянуться, морщится от усилия. Зажигалку не достать — обе руки заняты.

— Вы бы положили вещи,— говорит Нестеров, протягивая свою зажигалку.

Сигарета дёрнулась в сторону, словно Вендель испугался огня. Движение мгновенное... В ту же секунду Вендель подался вперёд, закурил и любезным поклоном выразил благодарность.

Пакеты он не выпустил. И ничего не ответил капитану. Нестеров напомнил:

— Кладите на пол. Места достаточно.

— Спасибо, тут ходят... Ничего, спасибо... Тут не паркет, правда?

Да, не паркет — он прав. Ему не хочется класть чистые пакеты. Вендель аккуратен. Сваливать свои вещи на чужие



чемоданы он не станет. Для этого необходимо попросить разрешения. Но где тут отыщешь хозяина!

— Вы устали? — спросил Нестеров.

— Да, да, отчасти устал... Совершенно верно...

Он передумал. Он опускает пакеты на пол. Похоже, Вендель сегодня не совсем в своей тарелке. Это не удивляет Нестерова. Он допускал такую возможность — Вендель назначил свидание Милашкину, но не нашёл его в условленном месте. Милашкин скрывается, его ищут. И если так, то Вендель в тревоге. Да, так и есть — подошла его очередь у таможенников, а он забыл, в какой кучке его чемоданы. Озирается, поднимает пакеты... Вендель устал, а сутолока перед отъездом хоть кого собьёт с толку.

«Итак, наблюдение усилено,— констатирует Нестеров,— но результатов пока никаких.— И вдруг его охватывает досада: — Э, топчешься тут зря! А милиция зевает!»

Вся кладь Венделя плывёт, чуть покачиваясь, на транспортёре. Пакеты из универмага, два чемодана — один плоский, ворсистый, из оленьей кожи, другой маленький, толстый, с глянцем, из какой-то синтетической дешёвки.

Нестеров старается смотреть не только на вещи Венделя.



Проверка его багажа затягивается — коллекционер везёт множество мелочей.

Как можно найти что-нибудь, когда не знаешь сам, чего ищешь? Сейчас именно такой случай. Ни одна инструкция не скажет, как надо поступить. Немыслимо прощупать все тряпки, вспарывать кукол, открывать все бесчисленные коробочки, конверты, взвешивать на руке каждую банку с икрой, каждую пачку грузинского чая... Нет, как ни говори, есть качество, о котором молчат инструкции,— это интуиция, чутьё...

Чтобы не проявлять слишком большого интереса, Нестеров отходит, потом возвращается. Таможенник потрошит чемодан из оленьей кожи. «Бесполезно»,— думает Нестеров с тоской. Минут пятнадцать всего-навсего осталось Венделю пробыть на нашей территории. Если он жулик, то очень умный, и поймать его здесь, у самого рубежа... Как счастлив был бы Нестеров снять всякие подозрения с этого человека! Подвести какой-то итог, так или иначе завершить это томительное блуждание в потёмках...

Таможенник докопался до значков. В его руке, поднятой к глазам, блестит искорка.

Солнце льётся сквозь стеклянные стены вокзала, высвечивает значок, высвечивает седые виски таможенника. Он чем-то недоволен. Нестеров делает шаг вперёд.

— «Почётный железнодорожник»,— говорит таможенник и поворачивается к Нестерову.

Брови Венделя лезут вверх.

— Это нельзя? Нет?

— Откуда у вас? — спрашивает Нестеров.— Купить в магазине вы не могли.

— Извините, господин офицер... О нет, то есть, конечно, да, не в магазине... Мне подарили...

Он ещё раз просит извинить его.

Сияющий на значке серебряный паровоз, награда знатному железнодорожнику, остаётся в таможне.

Инцидент исчерпан.

Вещей Венделя уже нет на конвейере. Но ему ещё рано выходить на причал, к судну. Вендель ведь турист, а ещё не вся группа туристов собралась. Кто-то задержался в гостинице. Автобусы всё ещё прибывают. Куда-то исчез руководитель группы.

— Неразбериха,— Вендель чётко произносит трудное русское слово.— У нас часто обвиняют русских, а мы сами... О, мы сами не прекрасный пример, нет.

Сигарета его опять погасла.

Нестеров не предлагает огня. Руки у Венделя свободны, сам справится. Но закурить он не спешит.

Люди часто курят, чтобы усмирить нервы. А Вендель нервничает. Характер у него живой, ждать ему, разумеется, тошно. Возможно, есть и другие причины для беспокойства. И однако, вместо того чтобы закурить, он жуёт сигарету, вынимает изо рта...

В двух шагах урна. Чего проще — бросить окурок туда. Почему же Вендель колеблется? Может, потому, что ощутил взгляд Нестерова, сейчас более пристальный? Рука с окурком застыла в воздухе. Потом появилось новое выражение лица — решительное, почти злое. Вендель размахнулся и резко швырнул окурок в урну.

Что-то много переживаний из-за окурка!

Правда, и в окурках попадаются «начинки». Но этот наверняка пустой, бросовый.

Так в чём же тут дело?

Венделя окликают. Группа уже собралась, все формаль-



ности для выезда выполнены. У самого трапа Вендель предъявит свой паспорт. И всё...

— Мои лучшие пожелания, господин офицер,— слышит Нестеров.— Мне очень жалко этот значок... Это у вас почти как орден, да? Я буду знать...

— Пустяки,— говорит капитан.

Сейчас Венделя надо отпустить, немедленно отпустить на теплоход, или...

— До будущего лета, очевидно...

Это его, Нестерова, голос. Это лишние слова, слетают они машинально, чтобы выиграть время. Гипотеза, вдруг родившаяся в мозгу, кажется фантастической.

— Если бог даст здоровье, господин офицер...

«А чем я, собственно, рискую? — спрашивает себя Нестеров.— Боюсь неудачи? Да, получится неловко... Но ведь шанс единственный, последний...»

— Будьте добры,— говорит капитан,— ваши сигареты!

Вендель удивлён:

— Вы... Ах, пожалуйста!

«Скандал,— думает Нестеров.— Перед всей Европой... Советский пограничник отнимает у туриста сигареты, попусту придирается...» Нестеров разволновался. А лицо Венделя почти целиком скрылось за пачкой сигарет. Она словно заполнила весь зал. В глаза лезет верблюд на фоне пирамид.

Одна сигарета торчит — Вендель вытолкнул её щелчком, угощает.

— Прошу прощения,— говорит Нестеров.— Нам понадобится вся пачка.

Вендель молчит. Отвечают его пальцы — они начинают отчаянно дрожать. Но вот они покорно разжимаются и отдают пачку. И Нестеров наконец видит лицо Венделя.

На миг капитану почудилось, что перед ним другой человек — бледный, осунувшийся.

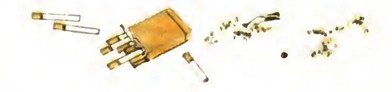
— Мы вас задержим,— говорит Нестеров.— Ненадолго,— прибавляет он, так как всё ещё не решается признать свою удачу, поверить в неё окончательно.

Ему и впоследствии нелегко было объяснить, как это получилось. Серебряный паровоз... Да, тут Вендель перестарался. Положил в чемодан на видное место, явно для отвода глаз. Мелкое недоразумение легко разрешится, контроль на этом закончится и его отпустят, наивного туриста, не отличающего наградной знак от значка-сувенира... Значит, скры-

вает что-то. Нервничает, жуёт свой окурок, с трудом расстался, выбросил... И Нестерова вдруг озарило — искать надо другую сигарету, целую. Вспомнилось, как Вендель вздрогнул, отшатнулся от зажигалки. Берёг пустой окурок? Нет, забыл о нём. Не заметил, что он погас. Но то, что он прячет, в сигарете. Да, оттого и вздрогнул. Ведь о спрятанном все его мысли, а если тайник в сигарете, то он её, единственную сигарету, только и чувствует. Можно сказать, губами...

Так или не совсем так пришёл Нестеров к своему решению — важно то, что он не ошибся. В одной из сигарет нашли микроплёнку. Крохотную, плотно свёрнутую, размером с пшеничное зерно. Когда плёнку проявили, на ней, под сильным увеличением, выступили корпуса заводов, здания военного городка.

Вендель пытался вывернуться. Понятия он не имеет ни о каких плёнках! Его подвели! Подбросили ему! Это происки бывших нацистов! Хотят очернить честного немца, друга Советского Союза! Вендель сваливал вину на своих спутников-туристов, на каждом допросе плёл небылицы. Продолжалось это две недели, пока находился в бегах подручный Венделя — Милашкин, который счёл за лучшее не выгораживать своего шефа.





Виктор Пшеничников

ТАМ, ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ...

Тупорылый вездеход на большой скорости мчался по тундре. Повсюду расстилался потемневший за лето мох. На поворотах выбрасывало из-под гусениц вездехода то скрипучий гравий, то ошмётки ягеля, и тогда обнажалась упругая тундровая земля, уходя назад, за приземистые холмы, двумя параллельными колеями.

Серая, неинтересная растительность, тянущаяся на многие километры влево и вправо, поражала Паршикова своим унылым видом. Вездеход покачивало на неровностях земли, усыпляюще гудел двигатель, в кабине было душно — тут поневоле заснёшь.

Но Паршиков не спал. Цепко вглядываясь в окружающее, он узнавал и не узнавал знакомые места, откуда уехал всего-то четыре года назад, когда поступил в офицерское училище.

Объезжая очередной невысокий холм, вездеход накренился.

— Остановитесь, — сказал водителю Паршиков, внезапно ощутив острое желание пройтись по земле.

Затянутая сивым курчавым ягелем, земля под ногами почти не ощущалась, гладкие кожаные подошвы сапог скользили по мху, будто по маслу. Идти было так же приятно, как в детстве по летней дорожной пыли, когда босые ступни

по щиколотку окунаются в ласковую, приятную глубину земляной горячей муки.

Воздух тяжеловато пах сыростью, по которой угадывалось стремительное приближение зимы. Паршиков вдыхал и вдыхал этот слегка напоминавший болотный, только менее отчётливый запах тундры, и ноздри его раздувались совсем как у охотника, издалека почуявшего дым костра и долгожданное жильё.

Сухо шуршал под ногами мох. Он взял правее. Торопясь, обогнул холм и с замиранием сердца остановился, зажмурив глаза, а когда открыл их, сразу узнал раскинувшуюся перед ним длинную, вытянутую вдаль лощину.

Да, это была она, та самая лощина, ещё в его солдатскую службу на Аларме весело названная пограничниками заставы Бабкиной тапкой. Только сейчас в углублении «тапки», где положено быть каблуку, чуть отсвечивала тусклым озерком стоячая вода да на самом дне, выпирая горбом, бугрился одинокий каменный валун. В то время, о котором вспомнил Паршиков, Бабкина тапка до краёв была наполнена снегом, будто его нарочно засыпали туда лопатами, возводя посреди ровного поля длинное взгорье непонятного назначения. Жутко было подумать, что под ногами, под глянцевым скользким настом в твёрдых звенящих ледяных наростах, таилась бездонная толща снега. Да и вездеходы тогда были редкостью, на охрану границы выезжали в основном на собаках... И Паршиков очень отчётливо вспомнил, что́ здесь с ним происходило четыре года назад...

— Во, смотри, снегу наворочало! На прошлой неделе будь здоров как мело. Пуржило, словом.— Старший пограничного наряда, время от времени спешиваясь с нарты, показывал молодому пограничнику-каюру путь. Говорил, даже не сверяясь с маршрутной схемой: — Попадётся такая ледяная лощина — не объезжай. По ней путь сокращается. Знаешь, сколько тут метров? Ну, в глубину?

— Сколько? — невольно переспросил Паршиков.

— Двадцать будет. Семь или девять этажей, подсчитали, кто жил в городе. Во! Да ты не бойсь, не провалишься. Глянь, он как железо. Видишь лёд? Это заструг. Так его тут зовут.

Старший наряда присел на корточки, похлопал ладонью в меховой рукавице по извилистому ближнему ледяному

бревну — застругу, тряхнул головой, озорно посмеиваясь из-под шапки с длинными, по-северному внахлёст, клапанами, обмётанными инеем.

— Сам попробуй. Здесь даже паровоз не провалится. А то подумаешь — нарта!

Паршиков осторожно приблизился, на всякий случай стоя боком, нацелился и стукнул по Бабкиной тапке тяжёлым деревянным колом — осто́лом. Гул от удара покатился по тундре, вспугнул притаившуюся неподалёку белую полярную сову. В полёте та распластала крылья чуть не на полнеба и скоро пропала в вязкой сумеречной мгле.

Старший наряда поочерёдно притопнул торбасами, подтянул длинные чулки из оленьего же меха — ка́муса, сказал озабоченно:

— Ладно, погнали. Нечего! Ещё махать да махать. А ты обожди удивляться, ещё насмотришься. Опротивеет. — Сказал, сплюнул в сердцах и добавил: — Тундра чёртова! Хоть бы дерево куда ткнулось, хоть для смеха... Ладно, пошёл!

Подражая старшему, Паршиков тоже незаметно подтянул свои негнущиеся, подмёрзшие новенькие чулки — по-местному чижи́, валко ступил к нарте, держа остол под мышкой, наперевес.

Собаки, готовясь продолжить путь, разобрались, вытянулись ломаной цепочкой за вожаком, легко и сильно напряглись. Нарта запрыгала вверх-вниз, одним полозом стуча по застругам, а другим едва подрезая сахарно-твёрдый наст.

— Ты собак напрасно не рви, — научал каюра старший наряда. — Пусть сами бегут, они учёные. Теперь вправо бери потихоньку. Вот так.

Прямо в спину Паршикову упиралось что-то квадратное, ощущаемое даже сквозь грубую ткань толстой куртки на меху, сквозь грубошёрстный свитер и нижнее бельё. Он оглянулся раз и другой, пощупал сзади рукой.

— Ты чего крутишься? — на ухо прокричал старший. — Неудобно? Терпи. Нам с тобой много чего положено в дорогу: жратву там, керосин, примус, котелок, то-сё. Вот и возим. Зато после, если что случится, не будешь локти кусать. Давай правь вон к балку́. Видишь, домик такой на санках? Это и есть балок. Обогреваться будем.

Паршиков не видел ни самого домика, называемого почему-то балко́м, ни тем более санок, но на всякий случай кивнул, правя, куда указал старший.

Смутно серело что-то впереди, обещая и в самом деле дом или, во всяком случае, хоть какое-нибудь укрытие, о котором среди такого вот неимоверно огромного пространства, насквозь промёрзшего, поневоле тоскует сердце. Паршиков до боли в глазах всматривался в маячившее среди темени пятно, а оно всё стояло недвижимо, и даже не то чтобы стояло, а вроде отодвигалось потихоньку в глубину плотного полумрака, обозначавшего разгар полярного дня, скорее похожего на ночь.

— Слышь-ка, притормози,— по-деревенски запросто сказал и тронул Паршикова за плечо сержант.— Вроде мелькнуло что-то сбоку, надо бы поглядеть.

Он легко соскочил с нарты, подбросил плечом ремень автомата, и без того туго закреплённого на спине, зашагал от нарты в обратную сторону. Все ждали, с чем вернётся сержант.

— Во, дела, сдох! — донеслось из темноты удивлённое.— С капканом сюда прискакал. Нужно было махать в такую даль...

— Кто? — испуганно спросил Паршиков.— Кто сдох?

— Да песец. А я гляжу — лежит. Точно, мёртвый. Живой бы не лежал, живого бы его только и видели. Недавно сдох, а то как раз бы успели, капкан хоть сняли. Теперь его звери обгложут. Закопать, что ли? Лопатка там далеко?

— Будешь ещё возиться! — буркнул, не слезая с нарты, другой пограничник из состава наряда, Анучин.— Природа дала, природа и взяла. Она помудрее твоей заботы. Всё равно другое зверьё раскопает, прячь или не прячь.

— И то правда,— не сразу согласился сержант.— На всех зверей не наздравствуешься. Сколько там на твоих серебряных, Анучин?

Анучин почти наугад брякнул:

— Почти пятнадцать. Без десяти. Поехали. А то возле каждого песца останавливаться — и околеть недолго.

Обогревательный домик вывернулся будто живой, будто сам скользил навстречу пограничникам на своих неуклюжих брусьях, понизу обшитых широким полозом. Паршиков облегчённо вздохнул; закрепляя собачью упряжку, вонзил тяжёлый деревянный кол в снег.

— Разгружайся! — повеселевшим голосом скомандовал сержант.— Ты, Анучин, хватит сидеть, работать надо. Башкатов, и ты помогай. Я пока с заставой свяжусь.

Скоро занесли в домик ящик с провизией, тут же, у домика, нарезали кубики снега для чая, растопили железную печку, и пока сновали туда-сюда, упарились.

Паршиков стянул с головы отмокший от инея подшлемник, всё время сползавший на глаза, сунулся было за дверь — помочь нарезать снег, но старший наряда грубовато осадил его у порога:

— Ты, молодой, не хорохорься! Без шапки на улицу не вылазь: вмиг прохватит. Кому тогда нужен будешь, больной да без сил?

Паршиков огляделся в непривычной тесноте дома, добротно сбитого из толстой авиационной фанеры. Сколько лет он стоял здесь, однажды привезённый, и ничего ему не делалось — ни ветер его не брал, ни мороз.

Малиновые сполохи быстро занявшегося огня выплясывали по светлому, самую малость закопчённому фанерному потолку, отражались в крошечном боковом оконце, которое, казалось, вот-вот растает от тепла, и тогда в дом войдут темнота и холод.

Сообщив по рации на заставу о прибытии наряда в обогревательный домик, сержант деловито побрякивал заслонкой печи, подкладывал в пышущий жаром зев заранее наколотые, до звона высохшие чурочки. Вскоре тёмные бока печки малиново засветились, потянуло теплом.

— Вот и хорош,— сказал сержант.— Можно и чайку погонять. Анучин! Доставай заварку!

Паршиков больше помалкивал да оглядывался. Сидя на корточках в полуметре от печки, он ощущал, как забравшийся в дороге под одежду холод постепенно сменялся теплом, как начало ломить сначала колени, потом отозвалось в кончиках пальцев, в каждом попеременно, побежало выше, к сладко замиравшей груди. Глаза сами собой закрылись, дрёма подхватила каюра и невесомо понесла через стылую тундру вдоль океанского побережья, охваченного льдом...

— Эй, молодой! — окликнул его сержант.— Заснул, что ли? Это не дело. Спать пока никому не полагается. Давай как-нибудь шевелись или рассказывай что. Хоть умеешь рассказывать-то?

Паршиков с трудом открыл глаза, глянул сквозь мутную пелену и проступившие слёзы на окружающее, чмокнул пересохшими губами.

— На вот, чаю попей. Да лицо сполосни.— Сержант



протягивал ему на ладони пирамидку снега: — Потри хорошенько, пройдёт. Сон как рукой снимет.

Все смотрели на Паршикова с сочувствием. И только Анучин бубнил, будто для самого себя:

— Ещё службы не понял, а уже спать. Рассказчик...

Быстро, словно одна минута, пролетело время, отпущенное для обогрева. Пора было снова трогаться в путь.

Океанское побережье в темноте почти ничем не отличалось от тундры. Не воспринимал Паршиков, что перед ним расстилался на тысячи миль тот самый неоглядный водный простор, от которого даже на школьных уроках географии веяло мрачным ледовым холодом. Ни пространство не ощущалось им, ни скрытая, сдерживаемая слоем льда океанская мощь и сила.

— Южное побережье Северного Ледовитого,— явно повторяя чьи-то понравившиеся слова, специально для каюра сообщил сержант.— Учти, молодой. Домой письмо сочинять будешь — так и напиши.

На пологом спуске нарты незаметно стянуло с береговой кромки на лёд, но собаки не скребли по нему когтями, будто по стеклу, потому что лёд был шероховатым, словно его ошкурили крупной наждачкой. Собаки лишь злились друг на друга и отчего-то коротко взлаивали. Каюр не спешил переместить упряжку с ледового припая на твёрдый грунт, поскольку береговая кромка показывала чётко видимое направление и не давала сбиться с пути. Сержант и Анучин в это время светили по обе стороны нарт мощными следовыми фонарями. Да только свет почти не раздвигал пространство, стиснутое угрюмой теменью. Паршиков же невольно вглядывался в пляшущий сбоку овал огня, надеясь разглядеть в нём вмятину следа или ещё какой-нибудь признак присутствия тут чужого человека. Но под свет набегал всё тот же искрящийся дымчато-голубой лёд, а вдаль тянулась всё та же нескончаемая тундра.

Вдруг вожак собачьей упряжки, Осман, резко осадил, задрал широколобую голову, глухо, надсадно завыл. Как бы в ответ на его странную жалобу тоскливо взвыли и остальные собаки упряжки. Паршикову показалось, будто вверху раза два слабо полыхнуло северное сияние, волшебной серебристо-фиолетовой волной прошлось по небу и кануло вдалеке, будто примерещилось. Но сияние и впрямь примерещилось, потому что возникало оно лишь при ясной погоде, когда

сжатый от холода воздух даже звенел и ветер не подымал тучи искрящихся морозных игл. Сейчас же не видно было даже луны.

Осман вновь издал горлом жуткий глухой звук, и Паршиков поневоле прижался плечом к старшему наряда: инстинкт заставил положиться в непонятной обстановке на старшего.

— Не бойсь,— вроде не очень уверенно ободрил каюра сержант.— Так, почудилось что-то Осману. Может, росомаху учуял. Такая, скажу, зверюга — оторопь возьмёт, когда встретишь. Давай трогай.

Но Осман упёрся и ни в какую не хотел продолжать бег. Обеспокоенно, вразнобой заворчали и остальные собаки. Их волнение постепенно передалось и людям.

Паршиков спешился с нарты, когда собаки совсем залегли в снег. Вожак, тоже как и остальные собаки, пригибал морду книзу, прятал фосфорически поблёскивающие глаза, невнятно скулил и виновато тыкался носом в варежку каюра, будто и впрямь жаловался на проклятущую ночь, по которой надо ещё неизвестно сколько бежать да бежать.

— Ну что ты, Осман? Чего испугался? Видишь, никого и ничего впереди нет. Пошли. Вперёд! Ну!

Осман не трогался. Он лишь всё чаще, подрагивая всем телом, тревожно оглядывался назад, где за многие километры отсюда оставалась застава и на полпути к ней находился балок. Ведущая постромка натянулась у него на груди, а Осман всё норовил повернуть упряжку вспять, совсем не слушал ни ласковых уговоров своего хозяина, ни его жёстких приказов. Паршиков подумал, что, примени он силу, Осман, чего доброго, может и укусить.

— Что там с Османом? — нетерпеливо спросил с нарты сержант.

— Не идёт никак. Не знаю.

Больше сержант вопросов не задавал. Можно было догадаться, что он размышлял.

— Проверь-ка с фонарём впереди,— наконец произнёс он.

Паршиков обследовал местность метров на тридцать, и пока он шарил по снегу, Анучин всё бурчал недовольно, что попал в наряд с молодым каюром, из-за которого не то что к ужину, а и к рассвету на заставу не попадёшь.

— Всё чисто,— объявил Паршиков, возвращаясь к нарте.— Никого нет.

Сержант в раздумье нахмурил брови. Его крестьянская

натура не терпела ничего неясного или загадочного. Но в такой ситуации и он почти был бессилен. Ведь у животного, как ни говори, свои законы и понятия о жизни, и они никогда не могут быть до конца разгаданы человеком. На всякий случай, для очистки совести, сержант решил связаться с заставой, включил рацию. На таком расстоянии, сквозь треск радиопомех, вызванных непогодой, голос дежурного радиста был едва слышен. И всё-таки сержант после многих повторов разобрал главное. Застава их предупреждала: движется пурга. Дальше поддерживать связь не имело смысла — мешали посторонние шумы. Сержант упрятал в брезентовую сумку наушники, микрофон, натянул на закоченевший подбородок тугой ворот подшлемника.

— Вот что, быстро возвращаться,— объявил он остальным.— Идёт пурга. Может, ещё проскочим. Должны успеть вроде.

Ему никто не возражал, и выходило, что сержант уговаривал сам себя.

Не зная толком, что такое пурга, Паршиков со слов сержанта заключил только одно: собак сейчас жалеть не надо. Иначе... Что могло случиться иначе, он догадывался, наслышан был уже с первых дней службы на заставе. Но истинный смысл надвигавшейся беды он почувствовал лишь в глуховатых словах сержанта.

— Пошёл, Осман! Вперёд! — скомандовал он вожаку, разворачивая упряжку в обратную сторону и мечтая лишь об одном: только бы не сбиться с пути.

Странное затишье окружило пограничный наряд. Так же визгливо сипели полозья тяжело гружённой нарты с необходимой пограничной поклажей. Так же вырывалось из глоток бегущих собак свистящее дыхание. Но надо всем уже нависло что-то тяжёлое, давящее на мозг, гнетущее душу. Вот что, видимо, ощущал Осман задолго до того, как они получили с заставы подтверждение о пурге...

Теперь океан оставался по левую руку. И странно: чем дальше отодвигалась в ночь его монолитная ледовая кромка, тем спокойней становилось у Паршикова на сердце. Словно там, у самой кромки застывшей воды, его поджидало неминуемое несчастье, а теперь они возвратятся непременно домой, и всё будет хорошо.

Мрак по-прежнему разливался над глухо затаившейся тундрой. Казалось, ещё шаг — и полетишь в образовавшуюся

на пути пропасть, ухнешь в ледовый разлом, который поглотит тебя бесследно. Но чудился впереди — и Паршиков ясно ощущал это! — некий таинственный свет, единственно которого и следовало держаться, чтобы окончательно не пропасть. И Паршиков неуклонно, сам не зная зачем, правил на этот привидевшийся ему свет, потихоньку заворачивая к нему длинным хореем всю упряжу во главе с широкогрудым Османом.

Старший наряда пока что молчал, и по этому молчанию Паршиков определял, что действует правильно, что они находятся на верном пути.

Казалось, дорога тянулась под полозья сама. Постанывая, отзывался наст на немалую тяжесть нарты, наводя унылым звуком безотчётную тоску и оставляя лишь неистребимую веру в удачу, особое везение да упование на крепкие собачьи ноги. От разгорячённых тел сильных животных наносило терпкий запах псины. Но он, на удивление, был желанным в эти минуты, родным. И лишь отвлекало внимание пограничников от скорого собачьего бега одно — долгие, протяжные вздохи Башкатова, который ещё раньше, в балке, успел сообщить Паршикову, что попадал в такие пурговые переделки — не приведи господь.

Наконец сержант не выдержал, оборвал Башкатова:

— Не стони ты! Ещё не случилось ничего, а ты голосишь. Проскочим, говорю, в первый раз, что ли? Не махать же было до фланга! Да и Осман не шёл.

Все молча согласились, что «махать» до следующего обогревательного домика на фланге не имело смысла: дорога к дому — всегда дорога к дому, по ней придёшь и ползком.

Правда, пока ползти не приходилось: нарта шла и шла, собаки тянули сосредоточенно, без сбоев, будто ничего не случилось, будто уже сумели счастливо миновать беду. Только Паршиков краем глаза заметил, что Анучин стал чаще поглядывать на свои светящиеся часы да сержант время от времени принимался что-то уминать вокруг себя, перекладывать и без того хорошо уложенную, перетянутую верёвками кладь.

— Тараканьи бега, шут бы их побрал...— бросил в пустоту Анучин и, злобясь на собак, подсказал Паршикову: — Огрей ты их хорошенько!

Заранее примиряясь с худшим, Башкатов длинно, побабьи выдохнул: «Ох-хо-хо...» — но сержант осек их обоих:

— Заткнитесь вы там! Вас везут — и молчите! Только душу травите, помочь-то всё равно нечем...

Паршикову тоже показалось, что едут они подозрительно долго и вроде бы совсем в другую сторону. Но он старался меньше думать об этом, пока с каким-то прежде неведомым страхом внезапно обнаружил, что мерцавший ему впереди призрачный свет исчез. Вот тут его впервые по-настоящему охватило беспокойство, и он сдавленным, противным самому себе голосом спросил сержанта, так ли они едут.

На удивление, сержант отозвался раздражённо:

— Не знаю!

Он и в самом деле этого не знал, хотя компас, по которому сержант на вынужденной остановке сверился с маршрутной схемой, показывал верное направление и под крошечным стеклом живым комариком подрагивала чёрная с красным стрелка.

Сержант догадывался, что́ сейчас происходит с Паршиковым, но и сам ничем не мог помочь первогодку-каюру, потому что в такую темень и самый надёжный компас, дав верное направление, не выведет то́чно к месту, мимо которого легко проскочишь в темени, не найдёшь. Поэтому оставалось одно — ждать и надеяться.

Неуловимо менялась тундра, готовясь показать истинное своё лицо. Ветер тянул уже не лениво, как вначале, а резко, с напором, тормозя бойкий ход собачьей упряжки, и с каждой минутой всё набирал угрожающую мощь. Снежная злая крупка, сброшенная с космической высоты, запела вначале нежно, с чиликаньем, лаская слух новым звуком, но потом стала больно сечь не закрытую подшлемником часть лица. Паршиков намеренно не отворачивался, упрямо пялил глаза в непроглядную тьму. Он всё твердил с упорством кому-то неведомому: «Врёшь, не выйдет! Я ещё похожу под солнцем! Я ещё покупаюсь в реках. Меня так просто не свалишь».

Наконец снег встал отвесной стеной — странно серый, неразличимый в ночи, но хорошо ощутимый на ощупь. Упряжка замерла. На минуту вроде даже стало теплее, потому что погасла скорость встречного ветра. Но потом мороз подступил вплотную.

Паршиков соскочил с нарты, запнулся ногой за боковой борт и, не удержав равновесия, плюхнулся в снег. Ободрал о жёсткий наст нос и щёки. Однако ни уговоры, ни приказы не помогали: собаки залегли намертво, хоть тяни их за шку-

ры, хоть бей. Паршиков беспомощно потоптался вокруг Османа, кинулся было к пристяжке, да только ездовые лежали пластом.

— Всё! Приехали. Ставить палатку, быстро! — приказал всему наряду сержант.

Пурговая палатка с колышками для её установки была наготове, поставить её было делом недолгим. Но ветер рвал прочную ткань из рук, бил незакреплёнными пологами по лицу наотмашь, словно казнил людей за их нерадивость и напрасную трату времени. Загремел задетый кем-то нечаянно не то котелок, не то примус, и сержант неожиданно зло осадил:

— Вы там! Под ноги надо смотреть! Башкатов, свети прямее! Вот сюда свети. Ты, Паршиков, чего ждёшь? Готовь нарту!

Паршиков бросился вслед за другими переносить продукты и остальное имущество в кое-как закреплённую палатку. В суете и неразберихе он натыкался то на одного, то на другого, пока сержант не прикрикнул:

— Собак отвязывай, собак!

Паршиков торопливо опрокинул опустевшую нарту, метнулся к собакам. Какое-то шестое чувство подсказывало ему правильные действия, которые до этого вроде бы начисто вылетели из головы. Опрокинутую тяжёлую нарту он укрепил с наветренной стороны, а мокрых, опасно остывающих собак вместе с вожаком расположил около нарт с подветренной. Торопливо всем роздал корм, вожаку подложил побольше.

— Воткни остол! — напоследок напомнил сержант.— Иначе сорвутся, уйдут.

Паршиков глубоко в снег вогнал крепкий кол, ведущую постромку всей упряжки крепко привязал к задку нарт. Рукавицы на перекинутой через шею тесьме пришлось снять, и пальцы на лютом морозе не слушались, стали чужими и крючковатыми. Наконец Паршиков одолел тугой узел негнущейся оледенелой шлеи. Чувство вины за потерю дороги, которое он испытывал до последнего момента, притупилось. Просто его поглотила работа и почти безразличное равнодушие ко всему, что ждало их всех впереди.

В палатку он ввалился последним, вполз в неё чуть не на четвереньках.

Анучин уже хлопотал с примусом, пытался его разжечь и поминутно при этом ругался. Резко запахло керосином,

к горлу Паршикова подступил тошнотворный комок. Солдат понимал: это от слабости, от голода и холода, и это скоро пройдёт. Если бы не этот керосиновый дух!..

Он слегка высунул голову за полог, под свист ветра.

За спиной он услышал, как сержант из глубины палатки заботливо спросил:

— Ну что, полегче стало?

Он тяжело мотнул головой, и получилось, будто он поклонился набиравшей силу пурге.

— Ты чего, никогда керосина не нюхал? — спросил у Паршикова сержант.— Или тебя пургой так уделало? Нездоров, что ли?

Паршиков без слов помотал в воздухе пятернёй, тужась изобразить улыбку и как бы сказать этим: мол, всё в порядке.

— Э, парень, да ты совсем того... Ну, ничего, щас подкрепимся. Только не спи. Или лучше вздремни немного. А, как?

Каюр, не отвечая — вдруг заново подумав, что именно по его вине нарта сошла с маршрута,— сгрёб коробку с аккумуляторным фонарём, ползком потянулся к выходу.

— Ты куда, молодой? — обеспокоенно окликнул его сержант.

— П-по н-нужде,— промямлил Паршиков, опасаясь в этот момент, что его остановят.

Он знал почти наверняка, чувствовал, что находится где-то неподалёку от балка, словно там, за укрытыми в непроглядной ночи фанерными стенками балка, кто-то заботливый подавал ему неслышные знаки, настойчиво призывал к себе, и не было сил не откликнуться на этот зов.

Его не задержали, но посоветовали на всякий случай привязаться одним концом верёвки к палатке. Паршиков ступил в темноту.

Первый же страшный порыв ветра едва не сбил его с ног, закружил, словно бумажный листок, во все стороны. Нечем стало дышать, темнота казалось и живой и злобной, будто зверь. Паршиков включил фонарь. Луч тыкался, плясал под ногами, высвечивая громоздкие от настывшего льда торбаса. Под подошвами возникали глубокие осыпи снега. Их тут же заметало с неимоверной быстротой.

Через десяток-другой шагов он запнулся, потерял равновесие и упал. Руки в тёплых рукавицах наткнулись на





какое-то полено, которое, сколько он ни щупал, не кончалось — таким было длинным.

Паршиков зубами сорвал рукавицу, потрогал полено голой рукой и не поверил самому себе.

— Братцы! — прошептал он не повинующимися от холода губами.— Братцы, нашёл, а!

Ему казалось, что в обратный путь он движется стремительно, прямо-таки летит, как на крыльях. На самом деле он едва переступал, повисая на ведущей к палатке длинной верёвке. Сопротивление ветра было огромное, и Паршиков перебирал по верёвке руками, будто младенец в своём манеже.

Его уже искали. Обеспокоенные отсутствием каюра, пограничники вышли навстречу, определили его местонахождение по включённому фонарю, подхватили Паршикова под руки.

— Братцы! — только и выговорил он.— Заструг! Я нашёл заструг. Это Бабкина тапка, другого на пути не было, я заметил. От него рукой подать до балка, я знаю, я покажу...

В балке, который они не так уж давно покинули, во-



всю шарил ветер, гудел в трубе железной печурки, словно там бесился чёрт. Мелкие осколки стекла хрустели под ногами вперемешку со снегом. Сержант поднял с пола разорванную страшной силой банку из-под сгущёнки с неровными, зазубренными краями.

— Росомаха! Разбила стекло и впрыгнула, пока мы осматривали фланг. Ну, подлая, ты дождёшься.

Распаковав комплект инструментов для починки нарт, сержант наскоро заколотил окно, принялся растапливать печь, выстуженную морозом до белизны. Вскрыли неприкосновенный запас, прямо в банках, не сливая в котелок, разогрели консервированную картошку, колбасу... Понемногу жизнь возвращалась ко всем четверым, заставляя думать, говорить, улыбаться. И Паршиков глуповато, глядя на остальных, улыбался одними губами, неправдоподобно вспухшими, потому что в спешке он вышел из палатки без подшлемника, в одной только шапке.

— Ну, молодой,— посмеиваясь, сказал Паршикову сержант,— так и быть, вручим тебе перед увольнением в запас остол. На память. Чтоб помнил дольше...

...Он помнил. Стоя у края поросшей сизым ягелем лощины, слегка залитой водой, заново переживая случившееся с ним четыре года назад, Паршиков помнил всё до мельчайших подробностей. Помнил то, как наряд, экономя продукты, пережидал пургу чуть не неделю. И то, как с заставы к ним пытались пробиться, но не пустила пурга. И ещё помнил, как начальник заставы, увидев их всех живыми и невредимыми, выслушав доклад старшего, что их вывел к балку молодой каюр, вдруг снял со своего кителя зелёненький, похожий на орден знак «Отличник погранвойск» и прикрутил его Паршикову. И все остальные дни долгой солдатской службы вспомнил сейчас лейтенант Паршиков до мелочей.

Круто развернувшись, Паршиков заспешил от лощины к вездеходу, откуда уже обеспокоенно поглядывал в сторону лейтенанта белобрысый сержант, водитель этой чудо-машины. Уже захлопнув дверцу, отгородившись толстым оргстеклом от чарующих запахов тундры, лейтенант усмехнулся. И было чему. После памятной пурги он потихоньку ото всех, плеснув в баночку керосина, уходил за казарму или ещё дальше, в тундру, и вдыхал, вдыхал поначалу мутивший его керосиновый «аромат», приучая себя к тошнотворному, почти не переносимому им запаху. И вот — приучил...

— Товарищ лейтенант,— впервые за многие километры пути прервал его размышления водитель.— Можно вопрос? Вы раньше когда-нибудь в тундре бывали? Нет? О, тут такое, такое... Знаете, летом гусей, уток — тьма. Я такого, сколько живу, не видел. А зимой песцы тявкают, белые медведи встречаются, даже росомахи.

— И росомахи? — Паршиков улыбнулся, живо представив бало́к и распоротую зверем банку из-под сгущёнки.

— Да, росомахи. И ещё белые медведи. Во-от такущие.

— Ну, значит, увижу.

— Конечно, увидите. Скучать не придётся.

Он и не собирался скучать. Первые две недели, приняв дела, мотался с нарядами по участку заставы от фланга до фланга, силясь многое успеть за куцый, стремительно убывающий полярный день. Как бы заново знакомился с заставой. Иногда называл про себя имя заставы, обращался к ней, словно к живой: «Аларма, Аларма! Как же ты изменилась!..»

От прежней, сложенной из брёвен, не осталось и следа. Эта была сплошь из ребристого алюминия, на высоких сваях, просторная. И всё равно Паршиков был не в силах отделать-

ся от мысли, что старая, пошатывающаяся от напоров пурги, постанывающая каждым своим сочленением, каждым брёвнышком, была ему и милей и дороже. И совладать с этим щемящим чувством утраты, как-то перестроить себя Паршиков, сколько ни старался, не мог.

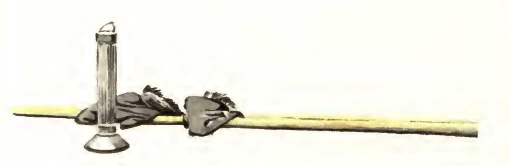
Его тянуло на побережье. Неодолимо манил океан, в котором за всю солдатскую службу он так ни разу и не искупался: не отважился, слишком холодно. Но в грозном, заранее предупреждающем рокоте его волн Паршикову слышалось гораздо большее, чем заурядный накат отяжелевшей воды... После долгой полярной ночи каждый год, примерно пятого февраля, тонкий ободок северного солнца проступал над выбеленной тундрой, подкрашивал её нежно-розовой акварелью. Наступавший вслед за этим мрак становился ещё гуще и ненавистней. Но это были его последние дни. Уже в середине февраля застава праздновала День солнца — торжественно, как бы и впрямь встречая такой желанный, так долго не наступавший день...

Однажды, возвратясь с побережья, уже охваченного предзимней промозглой хмарью, с трудом уйдя от воды, ставшей накануне холодов маслянисто-чёрной, густой, он услышал сигнал тревоги.

— Товарищ лейтенант! — доложили ему. — На левом фланге участка, примерно в трёх кабельтовых от берега, наряд заметил парусно-моторную яхту!

— Застава, в ружьё! Тревожная группа — на выезд!

Заполярная служба лейтенанта Паршикова продолжалась...





Евгений Воеводин

СОЛДАТСКИЙ ХЛЕБ

Смеркалось, и я совсем перестал что-либо понимать. Почему нужно идти в темноте? Неужели начальнику заставы так уж хочется встретить Новый год с нами? У него же семья здесь. Я сам вылепил роскошную снежную бабу для его ребятишек.

...Мы идём быстро, и я не отстаю от старшего лейтенанта. Потом я замечаю, что мы идём вроде бы совсем не в ту сторону. Кончилась лыжня, старший лейтенант шагает по снежной целине. Мне легче идти за ним. Морозец не очень крепкий, градусов десять, но за начальником заставы вьётся лёгкий пар. Конечно, топать по целине куда хуже, скоро от него дым повалит, а не пар, если идти вот так, всё дальше и дальше — в замёрзшее море.

Хорошо, что я ни о чём не спросил его. Всё и так ясно. Мы дадим здоровенного кругаля, спрячемся за островом, потом наденем маскхалаты и будем «нарушать границу». Время старший лейтенант выбрал, конечно, самое подходящее — новогоднюю ночь. «А ведь молодчина! — подумал я.— Нет бы посидеть дома, как положено нормальным людям. А он уже отшагал добрых двадцать километров, и хоть бы что!» Это я прикинул в уме. Но может быть, и не двадцать, а двадцать с лишним, потому что к маленькому островку мы должны подойти тоже скрытно...

— Устал? — спрашивает он с участием.

— Есть малость.

— Три минуты.

Мы стоим три минуты, переводя дыхание, и пар вьётся над нами.

— Угостил бы конфеткой, что ли? — говорит старший лейтенант.

— Пожалуйста.

Конфеты у меня распиханы по карманам. Мы съедаем по одной и закусываем снегом.

— Пошли.

Только бы не подвели ребята. Я пытаюсь сообразить, кто будет сегодня на вышке и кто — на прожекторе, но это нелепо — гадать, ведь из-за меня Сырцов перекроил график нарядов. Только бы смотрели лучше. Может, мне как-то удастся предупредить ребят... Нет. Мне ничего не удастся. Старший лейтенант заметит, и тогда от рядового Владимира Соколова, то есть от меня, полетят пух и перья. Только бы они смотрели лучше! Я иду и думаю, что есть же на свете телепатия. Сам читал. Надо только сосредоточиться и всё время передавать: «Смотрите лучше — мы идём. Смотрите лучше — мы идём». Я буду передавать Сырцову. Я представляю себе его лицо со здоровенной челюстью, смотрю в его глаза и медленно повторяю: «Смотрите... лучше... мы... идём...»

Времени нет. Оно словно бы остановилось здесь, в снежном море. Сколько мы прошли и сколько ещё шагать? Я устал, конечно, это я замечаю по тому, что старший лейтенант уходит вперёд. «Ты мастер спорта, должен же ты понять, что я устал? — непочтительно думаю я о своём командире.— Ну, остановись, дай человеку передохнуть малость. Дай хотя бы съесть конфетку!»

Он не останавливается. Светит луна, и длинная тень начальника заставы всё удаляется от меня. Ничего не выходит из моей молчаливой просьбы. «Остановись!» — он идёт. «Остановись!» — он не останавливается.

Только этого не хватало — упасть. Замёрзну как цуцик, и если старший лейтенант дотащит меня, то уже в виде сосульки. Я взмахиваю палками. Нет, ещё рано падать. Ещё можно идти, хотя бы на этих трясущихся ногах. Тень старшего лейтенанта начинает приближаться. Или он замедлил шаг, или я начал догонять его. Одно из двух. Скорее всего, он тоже устал. Мастера спорта тоже сделаны не из железа.

— Три минуты.

— И конфетку? — ехидничаю я.

— Нет, спасибо. Надевай маскхалат.

И только тогда я замечаю, что мы уже за островом. Пот из-под шапки заливает мне лицо. Но вот он, островок, на голубом фоне острые пики ёлок, тёмные валуны со снежными шапками. До меня не сразу доходит, что голубой фон — это свет нашего прожектора. Свет меркнет, смещается в сторону — островок исчезает.

— Вперёд!

У меня уже не дрожат ноги. Я иду за старшим лейтенантом почти вплотную. Островок слева. Мы обходим его — и вперёд, вперёд... «Смотрите... лучше... мы... идём...» Ну чего же они там? Почему не включают прожектор? Спят все, что ли?

— Ложись и не двигайся.

Вот он!

Голубой свет вспыхивает так неожиданно, что я не сразу успеваю повалиться в снег. Самого луча я не вижу. Только голубое облако, которое приближается к нам.

— Не двигайся,— с угрозой повторяет старший лейтенант. Он смотрит на меня. Думает, что я как-нибудь обнаружу себя. Всё-таки там — свои ребята.

Свет ходит: нас не обнаружили.

— Вперёд!

Мы бежим, бежим изо всех сил, теперь их нечего жалеть. И вдруг облако света обрушивается на нас, свет бьёт в глаза, свет со всех сторон...

— Назад!

Теперь прожектор светит нам в спину. Мы уходим, убегаем от него. Я не вижу ракет, которые пускают с вышки, сигнал тревоги: «Прорыв со стороны границы». Но я знаю, что ракеты уже пущены, и на соседних заставах их увидели...

— Скорей, скорей!

«Куда же он? — думаю я на ходу.— Долго он будет таскать меня по снегу?» Когда я падал, снег набился в рукава, попал за шиворот — и теперь по груди и животу ползут холодные струйки воды. А всё-таки нас обнаружили! Нашли, чёрт возьми! Свет не отпускает нас, мы по-прежнему в луче прожектора. Я догадываюсь: старший лейтенант хочет снова спрятаться за островком, переждать...

Так и есть.



Мы тяжело дышим и смеёмся. Стоим и оба смеёмся, потому что нам не удалось пройти.

— Сейчас будет самое интересное,— говорит старший лейтенант.— А пока давай перекусим, если не жалко.

— Не жалко.

— «Южная ночь»,— говорит он, разжёвывая конфету.— Мои любимые. Устал здорово?

— Здорово.

— Тебе надо подучиться. Вполне можешь сдать на разряд.

— Некогда.

— Ты, наверное, ленив малость?

— Есть немного,— соглашаюсь я.

— Тогда ничего не получится. Ага, едут!

Я ещё ничего не слышу. Приходится задрать опущенное ухо шапки, и тогда явственно доносится рокот мотора. Только я не могу определить, с какой стороны. Звук слышен то справа, то слева, он мечется по всей снежной целине.

— Пошли.

— Товарищ старший лейтенант...

— Нечего стоять. Замёрзнешь.

Легко, будто бы и не было позади двух десятков километров, он снова скользит по снегу. Мы уходим в открытое море. Островок-укрытие остаётся за спиной...

— Смотрите!

Издали к нам приближается разлапистое чудище с двумя горящими глазами-фарами. Гул мотора нарастает и нарастает. Я оборачиваюсь — с другой стороны на нас идёт другое такое же чудовище, и мне становится жутковато.

— Всё,— втыкает палки в снег мой начальник заставы.— Не рыпайся и подымай лапки вверх. Ну, быстро.

Я поднимаю руки. Аэросани светят нам в лицо своими глазищами-фарами. Солдаты спрыгивают в снег, я различаю лишь силуэты, но зато явственно слышу остервенелый собачий лай. А ну как сорвётся собачка с поводка? Как ей тогда докажешь, что я вовсе не шпион?!

Это произошло сразу. Иссиня-чёрная туча надвинулась так стремительно, так быстро погас день, что казалось, в большой комнате выключили свет. Ветер ударил по макушкам деревьев, сорвал провода, идущие к гаражу, разбросал и потащил по земле пустые ящики.

Шторм был со снегом, и снег резал лицо. Опять по земле легли белые вытянутые полосы, будто кто-то разорвал простыни и бросил клочья. Обрывки проводов бились о деревья и землю... Потом с грохотом повалилась сосна и легла рядом с домом.

Море пошло на нас. Перед камнями вырастала белая стена, море колотилось об эти камни со взрывами, и казалось, дом дрожит не от ветра, а от этих глухих, откуда-то из-под земли доносящихся, взрывов.

Мне было и жутко и весело одновременно. Не улетела бы снова крыша! И вышка выстояла бы! Сырцов снял с неё часового, и я подумал — правильно. Ложков был зелёно-фиолетового цвета. Он стоял на вышке, когда ударил этот шторм. Перепугался парень до невозможности: и уйти без приказа нельзя, и оставаться страшно. Вышку мотало. «Как будто в землетрясение попал»,— рассказывал нам Ложков, помаленьку приходя в себя.

Шторм продолжался весь день, ночь и начал стихать к следующему утру. Мы чувствовали себя так, как, должно быть, чувствуют себя хозяева, вернувшиеся домой и увидевшие, что здесь побывали взломщики. Поваленные деревья выставили свои лапы-корни. В бане были выдавлены стёкла и сорваны двери. Хорошо, мы с Эрихом вытащили лодку на берег, и она не пострадала... Сырцов сказал, что на этот раз мы легко отделались.

Была моя очередь идти на вышку, и я поднимался не без робости. Здесь ветер гудел, выл, свистел на все лады, и вышка походила на яблоню, с которой трясут яблоки. Вполне понятно, что Ложков здесь позеленел. Меня тоже начало мутить от тряски. На такой вышке не дежурить надо, а впору хоть тренировать космонавтов.

Казалось, я стоял на вершине большой горы, а внизу громоздились горы поменьше. Они двигались, сшибались, догоняли друг друга и накрывали одна другую. В это кипение воды вдруг врывалась ослепительная полоса — ветер разрывал тучи, и тогда стремительно падал сноп солнечного света.

Вот тогда, когда такой сноп упал, я и увидел лодку. Поначалу я не поверил себе: откуда здесь могла появиться лодка? Схватился за ручки прибора с мощной оптикой, развернул трубу — лодка оказалась перед глазами. Её несло прямо к нам; она то поднималась, то проваливалась и снова вскакивала на гребень волны. В лодке были двое.

Я метнулся в будку. Кнопка — сигнал боевой тревоги. Ракетница на полочке. Две красные и одна зелёная. Ветер снёс ракеты в сторону, но всё равно на заставе уже заметили сигнал. Ребята выскакивали из дома, на ходу выхватывая из пирамиды автоматы. Они не слышали, что я им кричал. Пришлось мне прогрохотать вниз, едва касаясь ступенек. Впрочем, даже отсюда, снизу, была видна лодка...

— Разобьются,— вдруг сказал Эрих.— Это рыбаки. Спасать надо.

Я мельком подумал: почему он решил, что э[illegible] рыбаки? А через секунду уже бежал за ним к нашей лодк[illegible] вернули её, столкнули на воду. Здесь, за кам[illegible] тихо. Вернее, почти тихо. Волны разбивались о[illegible], дальше...

— Осторожней! — крикнул Сырцов.— В море не выходить!

Не так-то просто было выгребать против ветра. Лодка развернулась боком, и её сразу же прижало к берегу. Эрих спрыгнул в воду и навалился на борт всем телом. Надо было идти против ветра — и мы всё-таки повернули наш ялик. Эрих перевалился в лодку, и я увидел, что брюки у него мокрые выше колен: стало быть, нахватал воды в сапоги. Мы гребли вместе, сидя друг против друга. Эрих положил свои руки поверх моих и толкал вёсла, а я тянул их — только так и можно было выгрести.

Мы не видели ту лодку. Сырцов показывал с берега рукой — правее, правее; а как идти правее? Стоило только повернуть, как нас снова несло на берег. А Сырцов всё махал нам — правее, ещё [illegible]ее, ещё...

Наконец нам [illegible]йти за камни. Здесь было тихо, и вода только крутилась. Ладони у меня горели. Я взглянул на ребят и увидел, что они замерли, подавшись вперёд.

— Скорей,— сказал Эрих. Он тоже увидел это и догадался раньше меня, что нужно скорее...

Всё-таки мы не успели. Та лодка ударилась о камни прежде, чем мы подошли. Я даже не слышал никакого треска. Нос той лодки задрался и, скользнув по полированному боку валуна, исчез под водой. Всё это происходило слишком быстро для меня, чтобы я мог сообразить, что делать дальше.

А дальше Эрих бросился в воду. Просто встал и нырнул. Глубина здесь была небольшой, ему по грудь; он пошёл по дну, вскинув руки, а я лихорадочно грёб за ним, потому что

сразу полегчавшую [illegible] ильней и сильней. Я не видел Эриха — ве[illegible] [illegible]ной, и обо[illegible]чивался на секунду, чтобы [illegible] в какой-нибудь камень.

Потом воз[illegible] [illegible]азу три головы — и шесть рук одноврем[illegible] [illegible]илика. С ума они сошли, что ли? Пе[illegible] [illegible] вёсла — и сразу лодку понесло к бе[illegible] [illegible]м мел[illegible]. Ветер тащил наш ялик, а я[illegible] [illegible] двои[illegible]

И оп[illegible] [illegible] быстро. Короткий удар. Ре[illegible] [illegible]ле [illegible] Эрих, встающий первым[illegible] [illegible] двоим. Всё. Я полез в карм[illegible] [illegible] на свете мне хотелось закур[illegible] [illegible] — закурить и маленьк[illegible] [illegible]образил, почему в лодке [illegible] [illegible] а не кто-нибудь из ребят. [illegible] Раз мы ездим обычно с [illegible] [illegible]о [illegible] должно нарушаться, а [illegible] [illegible]его, [illegible] в порядке. И, только закурив, [illegible] [illegible] Эрихом...

Одному было не менее [illegible] [illegible]т, [illegible] А другой совсем мальчишка. Тот, ч[illegible] [illegible]ше, [illegible] [illegible]ался, а мальчишка как повис на Эрихе, [illegible] не [illegible] [illegible]его. Их повели в дом, совсем забыв обо [illegible]не. [illegible] [illegible]икнуть: «Эй, а кто будет вытаскивать лодку, че[illegible]

Всё-таки это были нарушители границ[illegible] не «сп[illegible]ные», а «задержанные», и, как полагалось, Сыр[illegible]в произвел обыск, только потом их переодели и начали [illegible]аивать чаем. Лёнька побежал топить баню. Сашка сворач[illegible]л рацию. Оказывается, всё это время он был на связи с [illegible], комендатурой и отрядом. Кажется, сработали мы [illegible] [illegible] плохо. Только нарушители попались несерьёзные: [illegible] [illegible]рыбаки, а вовсе не какие-нибудь шпионы. Мальчишке лет тринадцать или четырнадцать, наверное. Сидит и дрожит, кутаясь в два одеяла. Взрослый вроде бы ничего, даже улыбается нам и что-то говорит по-фински. А может, и не по-фински, кто знает?

Вещи, найденные при обыске, лежат в нашей спальне: два ножа, мокрая пачка с расползающимися сигаретами, зажигалка, коробка с крючками, компас, часы, какая-то бумажка, которую Сырцов не рискнул развернуть. Пусть лежит и сохнет до прибытия начальства. С заставы передали: ждите вертолёт, когда стихнет ветер. Не хотят рисковать. Значит, пока не стихнет ветер, эти двое будут у нас.

Эрих тоже переоделся, и ему тоже в первую очередь была налита кружка чаю. Он сидел рядом с задержанными, грел о кружку красные руки и молчал. Старик что-то сказал своему юному напарнику, тот ответил — Эрих даже бровью не повёл. Но я-то уже догадался, что он молчит нарочно. Я слышал, что эстонцы запросто понимают финнов. И сейчас Эрих просто хочет послушать, о чём они говорят.

Вдруг старик сказал, показывая на себя:

— Матти. Матти Корппи.— Потом ткнул пальцем в юношу: — Вяйне.

И заговорил, заговорил, а мы покачивали головами: нет, никто не понимает. Тогда старик начал показывать, как на крючок надевают наживку и вытаскивают добычу. Изображал рыбака. Я смотрел на его руки с короткими, растрескавшимися, неуклюжими пальцами. У него были сильные руки, у этого Матти Корппи, не то что у его напарника.

Старик сумел-таки кое-что объяснить. Мы понимали каждый его жест. Он показывал, как вышел с этим юнцом, Вяйне, в море, как начали ловить рыбу, как налетел шторм и их понесло и как отказал мотор, а потом вырвало весло... Всё, всё было понятно без всяких слов. Что ж, им повезло. Жаль, конечно, что погибла лодка, но хорошо, что сами остались живы. Через несколько дней их передадут финскому пограничному комиссару, и то-то будет рассказов у Вяйне, как он побывал в России, в Советском Союзе.

Эрих повёл задержанных в баню. Они парились там часа два, не меньше. Надо было где-то устроить их на ночлег. Сырцов решил: там же, в бане. Окна мы заколотили фанерой и убрали осколки стёкол, выбитых ветром. Правда, придётся ставить у дверей часового. Так положено.

Но после бани они вернулись в дом, и Эрих тихо сказал:

— Рыбаки. Родня. Парень лодку жалеет. Недавно купили мотор. Хотели лосося поймать.

— Ясно,— сказал Сырцов.— Пожалуй, можешь поговорить.

Эрих что-то сказал Корппи, и старик вытаращил на него выцветшие слезящиеся глаза. Я-то думал, финны молчуны, а этот начал трещать как пулемёт. Эрих переводил, запинаясь.

— Говорит, они небогатые люди. Вообще, не совсем рыбаки. Ещё это... гонял смолу.— Видимо, он понимал не всё, что говорил Матти.— А, ясно. У его жены восемь детей и



столько же внуков. Два взрослых сына работают в Турку. На верфях «Крейтон-Вулкан». У него есть письмо от сына, которое мы отобрали... Оба сына — рабочие.

— Коммунисты? — спросил Лёнька.

Старик понял это без перевода и покачал головой: нет.

Эрих часто переспрашивал старика, но всё-таки переводил. Оказывается, этот юноша, его внук, Вяйне, живёт с дедом потому, что в городе очень дорого. Хлеб дороже, масло, мясо... У Вяйне неважное здоровье, но в городе врачу надо платить больше, чем в деревне. У них на три общины один врач, и ему можно платить рыбой, утками, яйцами...

— Во даёт! — сказал Ложков.— Значит, пощупает тебя доктор — гони утку?

— Первый раз слышишь, что ли? — не поворачиваясь, сказал Сырцов.— У них же капитализм всё-таки.— И попросил Эриха: — Ты переведи, зачем они далеко в море уходили, если у них такая лодчонка хилая?

Эрих перевёл.

— Он говорит, у берега ловить нельзя. Там каждый остров — частный. Личная собственность.

— Значит, простому человеку и порыбачить негде? — всё удивлялся Ложков. Как будто с луны свалился. Как будто никогда газет не читал.

— Отставить,— сказал Сырцов.— Спроси, сколько они за образование платят?

Эрих уже устал. И баня его разморила, должно быть. Но всё-таки перевёл.

— Ты погоди,— не унимался Ложков.— Что ж, значит, выходит? Заболел — плати. Хочешь учиться — плати. Хочешь жить в квартире — отдай четверть зарплаты! А сам вот — мотор купил. Ты спроси, у него какое хозяйство? Ну, кулак он там или середняк?

Эрих не стал спрашивать.

— Ты на его руки погляди,— ответил он.

Старик курил наш «Памир» и кашлял — сигареты были крепкими для него, а может, простыл за те полтора дня, что их несло. Вяйне начал дремать. Пришлось потрясти его за плечо: идём, идём спать. Мне ведь надо на вышку. Головня только подменил меня там, а я и забыл об этом. Мне стоять ещё полтора часа. Ветер не стихает, и вышка гудит по-прежнему.

— Ну, как там? — спрашивает Сырцов.

— Спать пошли.
— Я не об этом. Рассказывали они чего-нибудь?
— Рассказывали.

Я гляжу на море, на эти мечущиеся волны, покрытые ослепительно-белой пеной, и мне как-то странно, что там, за ними, люди живут совсем не так, как мы. Одно дело читать об этом в газетах, и совсем другое — своими глазами увидеть мальчишку, который не может жить в городе у родителей потому, что там дороже платить врачу...

Вертолёт появился через два дня.

Гигантская стрекоза опустилась рядом с домом, на поляне, где мы обычно занимались строевой. Лопасти покрутились, повисли — тогда раскрылась дверца, и показался комендант участка подполковник Лобода. Сам прилетел!

Вместе с ним были два солдата и длинный, обвешанный фотоаппаратами прапорщик. Я подумал: какой-нибудь технический эксперт. Прапорщик оказался корреспондентом нашей окружной газеты «Пограничник» и сразу взял Эриха и меня в оборот. Сначала он вытащил блокнот и сказал:

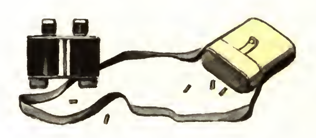
— Коротко, без лирики, самую суть.

Рассказывать пришлось мне. Прапорщик записывал, повторяя: «Спокойней, видишь — не успеваю». Потом подозвал Сашку Головню и расставил нас на камнях. Мы стояли, сжимая автоматы и вглядываясь в даль. Прапорщик снимал нас сверху, снизу, сбоку, а я еле сдерживался, чтобы не засмеяться.

— Читайте о себе в День пограничника,— сказал длинный прапорщик.— Желаю успеха.

Финнов пригласили в вертолёт, и вдруг Вяйне заревел, прижавшись к деду. Шёл и ревел. Уже подойдя к вертолёту, Матти, отыскав глазами меня и Эриха, сказал по-русски:

— Спасибо, спасибо...
— Не за что,— сказал я.— Не заплывайте далеко.





Николай Черкашин

ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ

В радиотехническое отделение Виктор Кутырёв попал, можно сказать, благодаря бездумной шутке земляка-москвича сержанта Суромина. Как-то после трёхкилометрового кросса Кутырёв, держась за ноющий бок, забрёл отдышаться в радиотехнический класс. В уютной комнате благоухала канифоль, таинственно поблёскивали матовые экраны. Пока он, Витька Кутырёв, носился на кроссе по сопкам, молодые пограничники, такие же, в общем-то, новички, сосредоточенно паяли разноцветные проводки в загадочных электронных приборах.

— Давай к нам! — подмигнул земляк.— Видал, какая техника?! Надоест на границу смотреть, переключил на телевизионную волну, и пожалуйста — хочешь хоккей, хочешь фигурное катание!

Не то чтобы Кутырёв не знал, чем телевизор от локатора отличается... Но ведь поверил! Локация для него — дело тёмное: диапазон-кенатрон, тумблер-верньер, крутнул-щёлкнул, глядишь, а на экране и в самом деле «В мире животных» или «А ну-ка, девушки!».

Как бы там ни было, а Кутырёв написал рапорт и через три дня уже перекалывал на зелёные петлицы «жучки», крылышки с молниями,— эмблемы радиотехнической службы...

Через полгода новоиспечённые операторы — так они теперь назывались — разъехались из отряда по заставам. Ни Кутырёв, ни Суромин и думать не думали, что встретятся снова, да ещё где — на самом дальнем посту границы.

...Вертолёт с красной звездой на борту, выискав пятачок на вершине Камень-Фазана, грузно осел на шасси.

Избушку ПТН — поста технического наблюдения — Кутырёв заметил ещё с воздуха при подлёте к скале, а вот сержанта Суромина и его напарника — длинного усатого бойца — уже на земле. Оба, прикрываясь от воздушных струй, вжимались спинами в бревенчатую стенку. Не дожидаясь, когда замрут обвисшие лопасти, Кутырёв выскочил из круглого вертолётного бока и бросился к сержанту. Обнялись на радостях. Далеко от дома знакомого человека встретить — что брательника повидать. А тут земляк, да ещё какой — в Москве на одной заставе жили, Преображенской, и на Дальнем Востоке на одну и ту же умудрились попасть.

Потом перетаскивали из вертолёта мешки с горохом и картошкой, ящики с тушёнкой и сгущёнкой, выкатывали бочки с соляром — запаслись месяца на три, до следующей смены.

Лётчик, отодвинув выпуклую стеклянную дверцу, помахал им из кабины. Ветер от винта промял траву, вертолёт привстал на шасси, и машина прянула в небо с переливчатым рокотом.

Вот и всё. Дремучая тишина сомкнулась над Камень-Фазаном.

Новое жилище Кутырёву понравилось. В тесной комнатке на широких половицах стояли три железные кровати. В изголовьях висели автоматы. Фонарь «летучая мышь» наводил мысль о ночной непогоде и почему-то о контрабандистах. На каменной печурке с треснувшей плитой клокотал бывалый пограничный чайник. Но главное место в домике занимал железный ящик на треноге с круглым экраном и винтовым стулом подле — индикатор радиолокационного обзора.

Пост технического наблюдения Камень-Фазана располагался на плоской вершине скалы, приткнувшейся у берега широкого пограничного озера. Отсюда, с высоты, и без бинокля вся озёрная гладь просматривалась как на тарелке, разве что краешек берега, закрытого мысом Осторожным, оставался невидимым с Камень-Фазана. За мысом и приютилась застава, а рядом был причал скоростных катеров. По

сигналу тревоги юркие кораблики срывались с мест и, окрылённые белыми бурунами, неслись к обнаруженной цели. Правда, за всю историю приозёрной заставы катера по боевой тревоге выходили дважды. Один раз, когда с того берега принесло большую деревянную бочку для засолки рыбы; и ещё, когда ветер угнал с нашей стороны непривязанную лодку.

Смотреть в круглое оконце экрана поначалу было даже интересно. Вращается, как стрелка на циферблате, зеленоватый лучик и рисует все извилины берега, зубчатый профиль мыса Осторожного, вершины далёких утёсов. Всё, что попадало под электронный лучик, вспыхивало ярким фосфорическим светом, а затем медленно меркло. Луч снова проходил по бледной, почти потухшей «картинке», и на экране снова появлялся на миг контур всего берега, а потом призрачно таял.

Вглядываться в экран, на котором застыла одна и та же «картинка» и ничего не происходило и не появлялось, надоело уже на третьи сутки «боевого дежурства», как высокопарно называл сержант Суромин ночные вахты у железного ящика. Всякий раз перед началом дежурства сержант выстраивал перед спинками кроватей «личный состав ПТН», то есть его, рядового Кутырёва, и ефрейтора Небылицу, парня высоченного и молчаливого, как пограничная вышка, и каждый раз командовал: «Отделение, равняйсь! Смирно!» Уставившись невидящим взглядом на звёздочку на кутырёвской ушанке, он нараспев чеканил: «Приказываю рядовому Кутырёву заступить на охрану Государственной границы Союза Советских Социалистических Республик!»

Когда Кутырёв слышал свою фамилию с торжественным названием страны, у него перехватывало горло. В грозном слове «граница» слышалось и рычание розыскной овчарки, и лязг передёрнутого затвора. Но едва он садился на круглый фортепьянный стул перед осточертевшим ящиком, как волнение тотчас же исчезало и весь церемониал казался нелепым и вычурным. Ну что ему, земляку, стоило сказать по-свойски: «Давай, Витя, на службу. Гляди там в оба!»

А в остальном парень Суромин ничего, и Кутырёв, сам того не желая, рассказал ему под белый «офицерский» чай — так у них назывался чай со сгущёнкой,— и про маму, и про сестру, студентку факультета иностранных языков, и про отца. Но больше всего про Ленку, бывшую одноклассницу, которая училась на вечернем отделении на биолога и работа-

ла в лаборатории опасных инфекций. Для этого ведь тоже нужна смелость, чтобы не бояться ни бацилл чумы, ни холерных вибрионов, ни прочей заразы.

Зимой, когда озеро стало, на Камень-Фазан примчались аэросани, привезли смену, а Суромина, Кутырёва и Небылицу доставили на заставу. Двухэтажное здание с гаражом, баней, причалом, вышкой, собачьим вольером и вертолётной площадкой показалось им шумным городом. Заставские новости ошеломили: за сопкой Кратерная взяли нарушителя, и троих солдат одного с Кутырёвым возраста наградили. Теперь на груди у них сверкали серебряные медали на зелёно-красных колодках. На дозорной тропе видели тигра. Овчарке Веге дикий кабан порвал ухо... Кутырёв жадно слушал рассказы о вылетах тревожной группы на вертолётах, о том, как бранятся с чужого, не нашего берега солдаты, как горланят мощные их репродукторы, выставленные на шестах вдоль пограничного ручья.

И Кутырёв клял тот день, когда его занесло в радиокласс, клял Суромина за его дурацкую шутку насчёт хоккея. Честно говоря, попался он тогда вовсе не на неё... Краем глаза он прочёл название учебного плаката, прикрытого широченной суроминской спиной,— «Лампа бегущей волны». Если бы сержант чуть подвинулся и Кутырёв увидел скучную схему какого-то прибора, похожего на большой градусник, быть может, всё повернулось бы иначе. Но тогда ему живо представилось, как Лена стоит на берегу моря с лампой в руке, а бегущие волны раскатываются у её ног... Позже, даже узнав назначение прибора, само его действие, Кутырёв спрашивал Лену в письме: «Хочешь, я пришлю тебе лампу бегущей волны?» А что? Это звучало и поэтично и современно.

Кутырёв вообще любил загадочные и красивые названия.

...Весна в последний год кутырёвской службы выдалась солнечная и разудалая. Весна на заставе — время обильной почты. Каждую субботу ефрейтор-почтальон, скособочившись, оттаскивал в командирский домик коробки с фильмами и портфель, туго набитый пухлыми конвертами.

Письма от Лены стали всё реже и реже. Они приходили такими тонкими, будто похудели к концу долгого и нелёгкого пути через всю страну.

В апреле тяжело гружённый пограничный вертолёт высадил на Камень-Фазане расчёт сержанта Суромина. Забрав

предыдущую смену, небесная машина ушла, весело посверкивая винтом, на Большую землю.

Ничего тут не изменилось. Всё так же простиралась заснеженная гладь озера. Всё так же угрюмо высились береговые утёсы. Всё так же местные предметы отражались на экране с удручающей неизменностью. Снова Кутырёву стали сниться зелёные сны — в цвет мозолившей глаза «картинки» на экране: зеленоватая Москва, зеленоватый старинный дом, зеленоватая, будто в фосфорическом сиянии, Лена...

Где-то гарцевали на конях всадники, приспустив ремешки с зелёных фуражек. Где-то резали океанскую волну крутоскулые корабли под зелёными вымпелами. Где-то неслись по следу тревожные группы. А здесь — под усыпляющее зудение приборов — осоловевшие от скуки операторы следили до боли в глазах за ленивым вращением электронного лучика. Ну хотя бы раз за много лет кряду наткнулся бы он на живую настоящую цель. Да и то сказать, какой шпион или диверсант ринется в открытую по озеру, если оно и просматривается, и просвечивается и вдоль и поперёк?

Однажды Кутырёва осенила мысль, что его радар запросто может засечь какой-нибудь неопознанный летающий предмет. Три вахты подряд он всматривался в экран с таким вниманием, что сержант Суромин несколько раз заглядывал ему через плечо — уж не появилась ли на экране цель? Увы, всё там оставалось прежним, давно привычным.

Иногда Кутырёв представлял себе, что перед ним не заурядный экран локатора, а круглое окошечко глубоководного аппарата, сквозь которое видна и береговая линия, и очертание глубочайшей впадины, над которой завис в океанской толще его подводный корабль. Но что-то слишком долго висел он на одном месте...

Тоскливее всего было зимой. Летом на озере появлялись рыбацкие мотоботы, и в журнал наблюдений можно было хоть что-то записать: дистанция, пеленг, курс... Зимой же озеро превращалось в белое ровное поле, и в журнале со страницы на страницу кочевала набившая оскомину запись: «В зоне наблюдения целей не обнаружено».

Зимой на Камень-Фазан обрушивались ветры. Печная труба по ночам выла мерзко, как пёс по покойнику. Дребезжали стёкла, и вращающаяся антенна отмечала на экране особо сильные порывы белёсыми мазками. И странно было видеть весь этот зримый ветер.

Зимой из избушки почти не выбирались, чтобы не унесло ветром с пятачка многометровой скалы. Разве что спускались, держась за натянутый трос, к проруби по воду. Да ещё выходили, чтобы втащить корягу на дрова, которые заранее припасли и сложили у стенок сруба. От этого вынужденного затворничества все трое так намозолили друг другу глаза, что Кутырёв знал веснушки на суроминской физиономии наперечёт, как точки «местников» на экране радара. Вдруг обнаружилось, что Небылица по ночам издаёт носом басовитое жужжание, будто у него застряла там осенняя муха. А Кутырёв узнал, к величайшему удивлению, что вот уже много недель он несказанно раздражает Суромина своей привычкой колоть косточки из компота в дверном зажиме. Осколки скорлупы, мол, хрустят потом под сапогами, портится дверной косяк, и вообще, треск скорлупы действует на его нервную систему, как на иных визг ножа по стеклу.

А тут и вовсе вышла крупная ссора из-за пустяка. За вечерним чаем Кутырёв посоветовал сержанту фразу «приказываю заступить на охрану» слегка приблизить к жизни — «приказываю засесть на охрану». Суромин вспылил. И Кутырёв взорвался. Выговорил наконец всё, что накопилось: мы-де никакие не пограничники, а самые настоящие дачники, которые всю дорогу попивают чаёк с молочком, сидя у «тиливизера», и ещё много такого, после чего Суромин перешёл с Кутырёвым на «вы». Обращался он теперь к нему только лишь по служебным делам. Жизнь стала и вовсе невыносимой. Попытки разговорить великого молчуна Небылицу ни к чему не привели.

Чтобы поменьше общаться со своими «весёлыми» соседями, Кутырёв попросился в самую трудную — предутреннюю смену. Сержант согласился. Он и сам теперь предпочитал видеть земляка как можно реже.

Зато Кутырёв открыл вдруг ещё одну поистине восхитительную сторону ночного одиночества. Поглядывая одним глазом на экран, другим можно было писать длиннющие письма Лене, не прикрывая листок ладонью и не вздрагивая при нечаянном приближении сослуживцев.

Однажды Суромин, листая журнал наблюдений, нашёл мелко исписанный тетрадный листок:

«Здравствуй, Лена! Только что вернулись с обхода Государственной границы. Ходил вместе с начальником заставы и верным своим Ингусом. Поразительно умный пёс. Правда,

в этот раз ему не повезло — сунулся в кусты, а там кабан, оттяпал ему пол-уха. Идёт и скулит. Не залижешь — языком не достанешь. Хорошо, у капитана «зелёнка» оказалась — замазали, и стал он зелёноухим. Прямо-таки Бим зелёное ухо...»

Суромин огляделся — Небылица сидел за станцией, Кутырёв рубил в сенцах корягу,— перевернул листок и стал быстро-быстро писать на обороте. Письмо вложил в журнал на прежнее место.

В глухую заполночь, устроившись поудобнее на винтовом стуле, Кутырёв раскрыл журнал, и тетрадный листок задрожал у него в пальцах.

«Здравствуйте, уважаемая Лена! — прыгали в глазах фиолетовые пружинки чужих строчек.— Пишет Вам непосредственный командир Вашего знакомого Виктора Кутырёва сержант Суромин Дмитрий Фёдорович. Считаю своим долгом сообщить Вам, что никакого Ингуса у Кутырёва нет, а есть боевая электронная техника, к которой он относится прохладно, позволяя себе писать письма во время дежурства...»

Кутырёв зарделся, вскочил и заметался по комнате, решая, сейчас ли стащить с Суромина одеяло и сказать ему всё, что он думает о людях, читающих чужие письма, или отложить разговор до утра. Но тут случайный взгляд на экран заставил его сесть поближе и подвернуть ручку яркости. Точка. Крохотная точка величиной с крупинку возникла там, где её никогда не было. Он даже поскрёб стекло ногтем — не налипло ли чего? Нет. Белёсое пятнышко оставалось. Помеха? Случайная засветка? Но лучик рисует его уже в третий раз — уверенно и чётко. Кутырёв подвёл к нему линию линейки. Через минуту пятнышко из-под неё выползло. Сомнений не оставалось: цель! Малоразмерная. Движется с той стороны!

Не сводя глаз с отметки, Кутырёв просунул руку сквозь решётку кроватной спинки и потряс Суромина за тёплую пятку.

— Дима... Встань! Похоже — цель!

Суромин приподнялся на локте, секунду соображая, кто и зачем его будит, потом спрыгнул и в одних трусах прошлёпал к станции. Вскочил и Небылица. Все трое, сталкиваясь лбами, старались посмотреть на экран. Лица их обливало зеленоватым вкрадчивым светом.

— Цель! — хриплым то ли со сна, то ли от волнения голо-

сом подтвердил Суромин.— И совсем рядом... В нашу сторону.

Он оторвался от экрана, посмотрел на Кутырёва и Небылицу так, будто видел их впервые, и выдохнул отчаянно резко, с той решимостью, с какой нажимают кнопки опасных механизмов:

— Отделение — в ружьё!

Словно выпростали пружины, и в груди, опустевшей легко и враз, запело зло, тревожно и радостно. Кутырёв кинулся к автоматам. Его — крайний слева. Сумка с магазинами — тяжёлая и слегка промасленная.

Впрыгивая в брюки, вбивая ноги в сапоги, Суромин выкрикивал приказы Небылице, который одевался наперегонки с ним.

— Свяжешься с заставой... Будешь следить за нами и целью. И наводить по азимуту наших... Понял?!

Напялив куртку и шапку, Кутырёв вприпрыжку бросился за сержантом. Забытая тяжесть автомата приятно оттягивала плечо. «Кажется, постреляем!» — мелькнула радостная мысль. В сенцах он трахнулся коленом о недорубленную корягу, но в следующую секунду холодный ветер приятно остудил ушиб.

Вниз скатывались почти кубарем — Кутырёв прожёг рукавицу о трос перил. Выбежали на лёд и разъехались с разгону в разные стороны. Суромин засёк по наручному компасу направление и, оскальзываясь на голом льду, побежал туда, куда, по его расчёту, сместилась цель.

— Держись правее! — крикнул сержант.

Кутырёв, не теряя его из виду, резво взял вправо, чтобы не составлять в паре соблазнительную групповую мишень. Автомат сползал с плеча, его пришлось взять в руку. Сердце колотилось бешено от одной лишь мысли, что там, в непроглядном жутковатом пространстве, поджидало некто или нечто, готовое к самому страшному и жестокому.

Океанский ветер тщательно вылизал лёд. Ноги разъезжались. Очень скоро Кутырёв стал хватать ртом воздух. Снова, как на кроссах, больно закололо в боку, во рту появился привкус крови, и Виктор сбился на неровный шаг...

Что там стряслось в темноте, он толком не понял. Сначала ветер донёс обрывок суроминского: «Стой! Стреля...» Потом три выстрела рванули воздух, и тут же торопливо татакнул автомат. В рваном свете дульных вспышек Кутырёв

увидел всё же, как метнулась к берегу стремительная тень, как, пригнувшись, бросился за ней Суромин. Сержант упал, и, распростёршись на льду, выпустил в прибрежные скалы длинную очередь. Пули высекли из скалы рой красных светляков — точь-в-точь сыпанули с трамвайной дуги искры.

Кутырёв припустил изо всех сил, словно боясь, что роскошный этот фейерверк закончится без него и он ничего не успеет и не увидит.

— Ложись! — совсем близко заорал Суромин. — Ложись, балда! Падай!

Ничуть не обидевшись на «балду», Кутырёв плюхнулся на лёд, загремев автоматом, и тотчас, тяжело дыша, приподнял голову. Ночь была безлунная, но светлая. Виктор хорошо видел огромные, косо разбросанные подошвы суроминских сапог; чёрную гладь замёрзшей воды, тянущуюся к берегу; снежную наметь вдоль прибрежных камней; гранитную стену обрыва, под которой укрылся тот, кто стрелял первым. Бежать ему можно было лишь вправо или влево, прячась за камнями. Но едва нарушитель вылез на белый снег, как Суромин предупредительной очередью вспорол перед ним сугроб. Всё повторилось точно так же, когда пришелец сунулся в другую сторону. И тогда тот стал стрелять из-за груды валунов, как из хорошего дота.

Кутырёв, силясь получше рассмотреть, кто там мечется в камнях, не заметил, куда переполз сержант. Он приподнялся повыше, и тут короткая злая сила рванула с головы ушанку. В уши ударил хлёсткий раскат, гулко повторенный эхом. Кутырёв вжался в лёд, поражённый не столько случившимся, сколько мыслью, что вот сейчас, сию минуту в него стреляли. Да-да, метили именно в его, кутырёвскую, голову, чтобы раздробить кусочком металла его череп, прервать раз и навсегда его мысли, его дыхание, горячие толчки ещё не унявшегося от бега сердца. Зачем? Что он сделал тому, кто только что так легко и чудовищно несправедливо чуть не лишил его жизни? Ведь это он тайком прокрался на его, кутырёвскую, землю, а значит, это в его злой и неразумный мозг надо всадить, коль уж на то пошло, девять граммов свинца в никелевой оболочке.

Вторая пуля пропела выше, и горячий от неё ветерок, показалось Виктору, ворохнул на затылке волосы. Голова без шапки сделалась вдруг беззащитной, будто с неё сняли непробиваемый шлем. И теперь, съёжившись, он ждал третьего



выстрела, ощущая какой-то занывшей жилкой то место, куда вот-вот вопьётся неминуемая пуля. Руки дёрнулись сами собой и загородили то место автоматом. Попадёт, обязательно попадёт.. Его же, гада, на снайпера учили. В спецшколе...

Кутырёв рывком приткнул автомат к плечу, сковырнул предохранитель и, выставив ствол туда, откуда должна была прилететь последняя пуля, нажал на спуск...

— Отползай! — прокричал откуда-то сбоку Суромин.— По вспышкам засечёт!

И Кутырёв резво засучил ногами, пополз, царапая лёд бляхой ремня. Из-за валунов вновь грянул выстрел, но Кутырёв уже его не боялся. Он замер метрах в десяти от Суромина, изготовился к стрельбе — благо пули летели не в сторону границы,— но палить наобум не хотелось.

Так пролежали они четверть часа, пока не заныли от стужи колени.

— Дима! — окликнул Кутырёв сержанта.— Может, подползём и с разных сторон...

— Он тебе подползёт... Лежи. Скоро наши подвалят... Зря не молоти! Бей только на отсечку.

Тот, за камнями, притих, видимо берёг патроны. Его убежище грозило обернуться ловушкой. Конечно же, он не станет ждать, когда сюда подрулят аэросани. Но всё-таки на что-то надеется... На что?

Кутырёв глянул на чуть просветлевший край неба и с ужасом понял, чего именно ждёт тот, простреливший ему шапку. Рассвета! Пограничники станут отчётливо видны ему в предутренней серости. Он перебьёт их, как тюленей на льдине...

Виктор взглянул на мамин подарок — «Полёт». Стрелка замерла на цифре «три». Если Небылица связался с заставой, то аэросани примчат минут через сорок. А если не связался? Атмосферные помехи? Да мало ли что?

Лежать на льду становилось невмоготу. Ноги совсем задубели, и холод, словно вода, пропитывал слой за слоем нетолстые кутырёвские одёжки. Ветер выдувал из рукавов остатки тепла, студил непокрытую голову. Мокрые от бега волосы смёрзлись в сосульки. Надо бы поискать шапку... Кутырёв лишь оторвал подбородок от приклада, как грянул выстрел. По щеке сеехануло ледяным крошевом — пуля клюнула возле плеча. Страшно захотелось ощупать свежую лунку.

Дело осложнилось теперь тем, что любое сколь-нибудь заметное движение выдавало их на ровной поверхности с головой.

Ждать. Не шевелиться и ждать, пока за спиной не заревут воздушные винты.

Где-то он читал про французского врача, которого фашисты, издеваясь, поливали водой на морозе. Врач силой самовнушения заставил себя поверить, что он на пляже, что изнемогает от жары, и даже парок закурился над его телом.

Мама уверяла его в детстве, что человек, переспавший на сырой земле, на всю жизнь останется инвалидом. Она запрещала садиться на траву без подстилки. Мама... Что-то она сейчас делает?.. В Москве сейчас вечер, и никто в столице даже не подозревает, что происходит сейчас на Камень-Фазане. Вон лежит поодаль сержант Суромин, и нет теперь человека роднее и ближе его, потому что ни с кем другим не делил ещё Кутырёв такой страшной ночи, не лежал на ледяной плахе в ожидании выстрела чужака. И если им удастся выбраться отсюда живыми и невредимыми, то уж куда бы потом ни забросила их судьба, они всё равно будут встречаться каждый год. Собираться именно в этот день и вспоминать, как свистел ветер в высоких автоматных мушках, как металась в камнях вражья тень, как предательски светлело небо...

А в Москве сейчас прекрасный субботний вечер. Принаряженные горожане возносятся на эскалаторах, спрашивают лишние билетики, ставят крестики в карточках спортлото. И никто из них не подозревает, что из их шумных потоков исчезли два не самых плохих парня. И эти двое лежат на льду замёрзшего озера, известного разве что географам, и сами постепенно превращаются в лёд. И даже Ленка, быть может, именно в эту минуту спешит с кем-нибудь в театр или кино. Ведь не скажешь же ей, в самом деле, словами из песни: «Только две весны, только две зимы ты в кино с другими не ходи».

Странное дело, Кутырёв не испытывал никакой обиды ни на Ленку, ни на тех праздных людей, которые беспечно предавались сейчас радостям жизни. Будто в его душе вместе с остатками тепла в груди вымерзли зависть, ревность, жадность. Вымерзли и превратились в острые кристаллики. И из них он теперь запросто мог сложить то слово, какое задала Снежная королева своему пленнику,— «ВЕЧНОСТЬ»...

...Он не слышал гортанного рокота аэросаней, не слышал хлопка и шипения осветительной ракеты, короткого треска автоматных очередей...

Очнулся Кутырёв, когда ощутил на миг душистый запах овчины, тряску скорой езды, рёв могучих моторов. Потом он забылся глубоко и надолго. Ещё раз он пришёл в себя, похоже, в госпитале: сильно пахло лекарствами. В глазах проплывали своды белых потолков, белые проёмы дверей, потому что лежал он на спине и смотрел на всё снизу. Слегка потряхивало, его везли на высокой тележке, чей-то женский голос спросил: «Что с ним?» — а мужской отвечал: «Гипотермия». Переохлаждение...

Их положили в пустующую палату. Там стояли кровати с матрасами на мягких панцирных сетках. Но несмотря на всю эту роскошь, сержант Суромин требовал, чтобы его отправили к ребятам на заставу. Он ворчал, что совершенно здоров и не собирается пролёживать зазря лучшие дни жизни. Успокоился только утром, когда сестра высыпала ему на постель целый ворох накопившихся писем. Кутырёв спал. Суромин аккуратно отсортировал почту — его и свою. Двенадцать писем скопилось земляку за эти дни: от матери, от сестры и одно — невесомо тонкое, с недавним штемпелем — от Лены. Поразмыслив, Суромин вынул его из стопки и спрятал под тюфяк — до лучших времён. Он знал по себе, что такие вот долгожданные и почти пустые на ощупь конверты опаснее неразорвавшихся гранат...

Зазвенела сетка, Кутырёв заворочался, открыл глаза.

— Привет, Кутырёк!

— Привет.

— Ну, как там твой Ингус поживает?

Кутырёв вздёрнул брови. Вспомнил. Засмеялся.

— Нормально! Нос холодный — значит, пёс здоров.





Игорь Козлов

КОГДА ПОДРАСТЁТ СЫН

Участок границы, который охраняла наша застава, проходил по вершине высокой горы Джамала. Вся равнина видна с неё как на ладони. На самой макушке горы стояла наша наблюдательная вышка. Устанавливали её с помощью вертолёта, потому что наш склон крутой, как трамплин, а противоположный — длинный и пологий, так что к вершине можно подъехать даже на машине. Используя эту особенность, «сопредельная сторона» — так пограничники называют соседнее государство — почти на линии границы тоже соорудила свою вышку, поставила на ней сильную оптическую трубу — прямо телескоп!

В ясные солнечные дни на этой вышке, кроме солдат пограничной охраны, появляются разведчики. Они ведут наблюдение, постоянно что-то отмечают на картах, фотографируют, делают записи в блокнотах. Одним словом — работа кипит!

Подниматься на гору тяжело, особенно зимой, когда склоны покрываются льдом. А самое главное, служба здесь требует особой бдительности и выдержки: расстояние между вышками невелико, каждое произнесённое вслух слово сразу улавливают «навострённые уши».

Так вот, в то утро всё было как обычно. Машина подвезла нас к подножию горы. Мы выпрыгнули из кузова, и я сразу заметил — на вершине блеснули стёкла «телескопа»...

Когда я первый раз по узкой крутой тропе поднимался к вышке, то где-то на полпути совсем выдохся, повалился на большой камень и пересохшими губами бормочу: «Не могу больше...» Нас, новичков, вёл тогда начальник заставы капитан Васильев. Он подошёл ко мне, положил руку на плечо и спокойно так говорит: «Рядовой Сухов, поймите меня правильно... Я знаю, что вам трудно. Можно, конечно, постепенно привыкать. Но оттуда, с вершины, наблюдают за каждым вашим шагом... Что они подумают, если увидят, как вы вниз покатитесь? Отдохните немного и пойдём...»

Капитан поднялся чуть выше — вся наша братия пластом лежала вдоль тропы,— стал что-то говорить другому солдату, у которого, наверно, самочувствие было не лучше. А ко мне, ловко прыгая по уступам, подлетел сержант Юра Попов — он шёл впереди, а начальник заставы замыкал цепочку. Сержант лёг рядом, усмехнулся, шутливо ткнул меня кулаком в бок и задорно сказал: «Вставай, пограничник, не позорь державу!»

С тех пор перед каждым восхождением я невольно вспоминал эти слова.

И на этот раз сержант Попов был старшим наряда. Когда машина, развернувшись, уехала, он посмотрел на вершину, нарочито громко вздохнул и привычно дал команду:

— Заряжай!

Голос у Попова — звонкий, озорной. Вроде произносит команды чётко, строго, а получается — весело...

У подножия горы, где дорога упирается в склон, на специальной подставке укреплён обрубок чугунной трубы. Сначала к нему неторопливо подошёл Федя Басаргин — третий из состава нашего наряда. Он деловито вставил в трубу ствол автомата, вытащил из подсумка магазин, лязгнул затвором.

— Оружие заряжено...

Федя — волжанин. Говорит на «о». Парень сильный, коренастый, а ходит немного вразвалочку, как медвежонок.

Потом сержант кивнул мне. Я подошёл к трубе и тоже зарядил автомат.

Теперь мы были готовы нести службу.

Начáлось восхождение. Тропа медленно плыла перед

глазами. Был март: лёд кое-где подтаял, под подошвами сапог хрустел песок, шуршала прошлогодняя листва. Солнце припекало, но мы были в ватных куртках и зимних шапках, потому что там, наверху, всегда бушевал ветер. Несколько раз по пути я хватал горсть синего ноздреватого снега и бросал его за шиворот. Приятный, освежающий холодок полз по спине...

Наконец мы добрались до маленькой будочки. Она пряталась за бугром у самой вершины. Здесь, на всякий случай, хранился небольшой запас продовольствия, стояла самодельная печурка. Когда было особенно холодно, мы по одному спускались с вышки и заходили в будочку погреться.

Передохнув немного, мы не спеша, с достоинством вышли из-за бугра.

На вышке сопредельной стороны уже торчали три солдата. Увидев нас, они загалдели, послышался резкий, гортанный смех: их привезли сюда на машине, а с нас, пока мы поднялись, сошло семь потов.

Каждый раз повторялось одно и то же, и каждый раз такая «встреча» ужасно раздражала меня: «Как им не надоест?..»

Мы поднялись на смотровую площадку. Заняли обычные посты наблюдения. Солдаты сопредельной стороны, повесив автоматы на гвоздь, о чём-то болтали, показывали на нас руками. Потом закурили и стали соревноваться, кто дальше плюнет в сторону границы...

Прошло несколько часов. Утренний туман рассеялся, видимость стала отличная.

— Надо ждать гостей,— сказал Попов.

И он не ошибся: вскоре послышался гул мотора.

Услышав его, солдаты сопредельной стороны похватали свои автоматы и приняли позы, означающие бдительное несение службы.

По серпантину дороги к границе приближался легковой автомобиль. Скрипнули тормоза — из кабины вышел разведчик. Мы знали его в лицо и между собой звали «активный». Он хорошо говорил по-русски, всегда приветливо улыбался и давно пытался вступить с нами в контакт. Однажды принёс три шапки, сделанные из какого-то дорогого меха, стал предлагать:

— Берите! Что вы боитесь?.. Застава далеко, никто не узнает! Домой красивый поедешь!

Целый час старался тогда провокатор подкупить нас, охрип на ветру. Наконец, грязно выругался, кубарем скатился вниз, сел в машину, зло хлопнув дверцей...

На этот раз «активный» молча поднялся на вышку. Вид у него был хмурый, озабоченный. Не глядя на нас, он приник к окулярам оптической трубы, стал рассматривать наш участок. Потом достал из планшета карту. И тут случилось непредвиденное: подул сильный ветер — и карта буквально выпорхнула из рук разведчика. Подхваченная порывом ветра, она перелетела границу и прилипла к перилам нашей вышки.

Я оцепенел от неожиданности. Глаза «активного» от ужаса стали квадратными. И только сержант — нужно отдать ему должное — действовал решительно и хладнокровно. Он каким-то быстрым, я бы даже сказал — элегантным движением снял карту с перил, ловко свернул её несколько раз и спокойно положил за пазуху. Потом он облокотился на перила и стал смотреть на сопредельную сторону, как будто ничего не произошло, но краешком рта хрипло прошептал:

— Басаргин... доложи... на заставу...

Федя мгновенно слетел вниз и побежал к будочке, где у нас был телефон.

Наконец «активный» пришёл в себя.

— Сержант, отдай карту! — яростно заорал он.— Карту отдай! Отдай карту! Карту!..— И вдруг умолк, снял с руки часы, протянул их и заискивающе сказал: — Это золотые... Верни карту, сержант, очень прошу...

Я посмотрел на Попова. Он закусил нижнюю губу.

«Активный» немного помолчал, выжидая, что будет делать сержант. Попов стоял в той же позе.

— Ну, пеняй на себя! — зло крикнул «активный».— Не отдашь по-хорошему — силой возьмём!

Он отдал солдатам команду. Те испуганно переглянулись, потом нехотя передёрнули затворы, улеглись на доски смотровой площадки, направив на нас оружие.

— Не отдашь — открываю огонь! — взвизгнул «активный».

Сержант посмотрел на меня. Мы молча опустили «флажки» предохранителей автоматов и тут же услышали резкий свист. Это был оговорённый сигнал — «спускайтесь вниз». Я посмотрел в сторону бугра,— там у нас был оборудован небольшой окоп,— Федя Басаргин, взяв на мушку



наблюдательную вышку сопредельной стороны, готов был прикрыть нас.

— Медленно... спокойно... пошёл...— приказал мне Попов.

— Юра, давай ты первым. У тебя карта,— взволнованно прошептал я.

На какую-то секунду сержант задумался, потом кивнул и неторопливо пошёл к лестнице.

Я, не отрываясь, смотрел на сопредельную сторону, готовый в любой момент дать ответную очередь. Сердце бешено стучало. Выл ветер. Гудели металлические перекладины под сапогами Попова.

«Активный» растерянно наблюдал за сержантом. Видимо, никак не мог принять решение. Наконец он что-то приказал солдатам, но те отрицательно закачали головами, протестующе загалдели. «Активный» бросился на них с кулаками, выхватил пистолет... Что было дальше на вышке, не знаю: ещё раз раздался условный свист — и я камнем скатился вниз, рывком добежал до бугра и, как в воду, нырнул в окоп. Я весь был в испарине, тяжело дышал. Попов склонился надо мной. На его лбу тоже висели крупные капли.

— Порядок, Алёша...— ободряюще шепнул он.

Басаргин продолжал вести наблюдение. Не оборачиваясь к нам, он сказал:

— Приказано мне с картой спуститься... Вам оставаться здесь. Скоро прибудет тревожная группа.

Я занял место Басаргина. Как они передавали друг другу карту — не видел. Только услышал, Попов сказал Фёдору Басаргину: «Оставь нам свои патроны».

На сопредельной вышке тоже никого не было. Но вскоре ветер донёс рёв моторов — к линии границы выехали два грузовика с солдатами. По команде они развернулись в цепь.

Мы были готовы держать оборону.

— Стрелять только по моей команде. Прицельно. Одиночными,— приказал сержант.

И тут за нашими спинами раздался лязг и хрип: тревожная группа, на ходу изготовляя пулемёты, ввалилась в траншею... Потом ребята рассказывали, что никогда ещё так быстро не забирались на гору. «Карабкались как обезьяны! — смеялся старшина.— Разворотили всю тропу!» Но это было позже... А тогда мы напряжённо ждали, что произойдёт.

Через несколько минут в воздухе появились наши вертолёты. Это заметно придало нам бодрости.

На сопредельной стороне прозвучала команда. Солдаты быстро попрыгали в кузовы грузовиков. Машины покатили прочь от границы.

Так закончилось это происшествие.

Приближался летний период службы, или, как говорят пограничники, «сезон чернотропа». Однажды начальник заставы собрал нас в классе тактической подготовки. Здесь на специальном столе лежал рельефный макет нашего участка: горы, лощины, ручьи, даже отдельные группы камней — всё было видно на нём.

— Товарищи,— строго и как-то необычно сурово сказал капитан Васильев,— я должен сообщить вам важные новости. Удалось расшифровать ту злополучную карту, которую наш наряд доставил с границы...— В классе стояла напряжённая тишина.— Выяснилось, что сопредельная сторона хочет использовать наш район для заброски разведывательно-диверсионных групп. Обратите внимание на эти ущелья...— капитан показал их на макете.— По ним протекают речушки, которые берут своё начало на гребне хребта, то есть у самой линии границы. Значит, двигаясь вдоль русла, лазутчики могут в темноте, не теряя ориентира, выйти в наш тыл...— Начальник заставы озабоченно посмотрел на нас.— Приказано в ночное время выставлять секреты в ущельях — блокировать их. Конечно, нагрузка возрастёт... Нам обещали помочь с людьми. Почти каждый из вас станет старшим пограничного наряда — вы лучше знаете участок. Я уверен, что мы справимся с этой задачей.

Вскоре на заставу действительно прибыло пополнение. В спальном помещении пришлось потеснить койки, но всё равно места не хватило. Тогда во дворе установили большую палатку, в неё по предложению старшины перебрались «любители свежего воздуха».

Месяц мы несли службу с повышенным напряжением. Всё было тихо, спокойно... Днём, как обычно, наряды поднимались на вышку. «Активный» после того случая бесследно исчез. Но другие разведчики продолжали постоянно вести наблюдения. Правда, что-нибудь настораживающего в их поведении не замечалось. Солдаты заставы несколько успо-



коились, а некоторые даже подсмеивались над нами: вот, дескать, навели панику, «липовую» карту вам подсунули.

Прошёл ещё месяц... Теперь по вечерам горы стали окутываться туманом. Как мягкий ледник, он медленно сползал в долину. Момент для нарушения границы был самым подходящим. Начальник заставы решил блокировать не только ущелья, но и лощины, по которым протекали небольшие ручьи. Одна из них досталась мне и молодому солдату Грише Сёмушкину.

Это случилось 21 августа в 3 часа 19 минут...

Ночь в горах похожа на живое существо — огромное, скользкое, неповоротливое. Оно всё время тяжело вздыхает, ухает, ворочается — никак не может уснуть. Пограничному наряду, несущему службу, это помогает: невольно находишься в постоянном напряжении, чутко, до звона в ушах, вслушиваешься в шорохи и шумы.

Позицию мы занимали отличную: я лежал у дерева на



краю лощины, а Сёмушкин метрах в двадцати от меня, но уже внизу — прямо у ручья, среди больших валунов.

План у нас был такой. Если я замечаю нарушителя, продвигающегося по дну лощины, — даю условный сигнал. Затем пропускаю его так, чтобы он оказался между мной и Сёмушкиным. Потом, окрикнув нарушителя, иду на задержание, а Сёмушкин прикрывает мои действия.

Как же всё это произошло?.. Сейчас мне трудно рассказать о всех деталях и подробностях. Отчётливо я помню только начало боя.

...Они появились внезапно. Выплыли из тумана и шли тихо, как призраки, мерно покачиваясь в одном ритме.

Их было двое...

Я дёрнул бечёвку — другой её конец был у Сёмушкина — и тут же уловил ответный рывок: Гриша меня понял.

Призраки приближались. Они двигались прямо к валунам, за которыми укрывался Сёмушкин. И вдруг случилось непоправимое. Видимо, Гриша хотел поменять позицию, он приподнялся, камень хрустнул под его сапогом — и тут же

раздался странный, чавкающий хлопок: чох! И я услышал, как Сёмушкин всхлипнул. Жалобно, как ребёнок...

От этого вскрика во мне что-то оборвалось. Я вскочил и хриплым, страшным голосом закричал:

— Стой! Руки вверх!

И сразу же снова послышалось: чох! чох! Как будто в резиновых сапогах идут по болоту. От дерева, за которым я укрывался, отскочила щепка и больно впилась мне в щёку. Теперь я смекнул, что означает этот «чох» — так стреляет карабин бесшумного боя.

Я вскинул автомат, ударил короткой очередью — один нарушитель рухнул прямо в ручей; второго решил брать живым.

— Бросай оружие! — приказал я. (Мой голос эхом отозвался в лощине.)

«Призрак», видимо, понял, что он у меня на мушке. Лазутчик кинул свой «беззвучный» карабин — металл лязгнул о камни — и поднял вверх руки.

Но стоило мне выйти из-за дерева, как враг резво прыгнул в сторону и тут уж грянул громкий выстрел из пистолета.

Я почувствовал удар в плечо, упал на землю.

«Призрак» метнулся вверх по лощине, в сторону границы. Я судорожно подтянул одной рукой автомат, упёрся им в корень дерева, дал очередь.

Нарушитель рухнул как подкошенный. Затаился... Он понимал, что лежит прямо передо мной, и поэтому ждал, когда я снова встану, чтобы подойти к нему.

Но, во-первых, я специально бил впереди него и точно знал, что не попал, а во-вторых, при всём своём желании не смог бы встать: что-то липкое, тёплое текло по плечу, левая рука не слушалась, леденящая, жуткая боль ползла по телу.

Схватив разгорячённым ртом несколько глотков воздуха, я крикнул:

— Лежать!

Для верности я прицелился в камень, торчавший рядом с его головой, и нажал на спусковой крючок. И нарушитель дёрнулся, съёжился...

Опять стало тихо. Кричать уже не было сил.

«Неужели уйдёт?!» — мелькнула отчаянная мысль. И сразу туман рассеялся: нарушитель лежал в той же позе.

Боль в плече начала дёргать, а в голове что-то затикало, как часы.

Лазутчик встрепенулся. Он, наверно, догадался, что я ранен, и терпеливо ждал, когда я потеряю сознание.

— Лежать...— прохрипел я и, стиснув зубы, нажал на спусковой крючок. Одиночный выстрел зловеще, как кнут, хлестнул по воздуху.

«Пусть знает, что я живой... В случае чего, я его уложу... На это у меня сил хватит...»

И вдруг раздался хлопок — зелёная ракета, шипя, разбрасывая горячие искры, впилась в небо, осветив всё вокруг сизым мерцанием.

«Гриша! Сёмушкин!.. Жив, родной...»

Прошло несколько минут. И снова теперь уже красная ракета взлетела вверх.

Я представил себе: раненый Гриша, лёжа на спине, слабеющими пальцами выковыривает из ячейки гильзу, чтобы дать сигнал, и уже мчится к нам на помощь тревожная группа, и выдвигаются соседние наряды...

Теперь я точно знал, что дождусь.

Сознание как бы раздвоилось: одна половина, не отрываясь, следила за нарушителем, а вторая — прислушивалась к собственной боли, которая жила во мне и нарастала.

Гул мотора... Свет прожектора...

«Предупредить надо...» — сквозь забытьё подумал я, опёрся на здоровую руку и, сделав последнее усилие, чужим, визгливым голосом прокричал в ту сторону, откуда бил ослепительный голубой луч:

— Ребята... Он живой... С оружием...

Потом всё закачалось, закружилось: лощина полетела вверх, а звёзды оказались внизу...

В Москве на улице Большая Бронная есть Музей пограничных войск. Когда подрастёт мой сын, я приведу его сюда. Мы пойдём по залам, от экспоната к экспонату, и я буду рассказывать ему о первых пограничниках, ходивших в лаптях по размокшим дозорным тропам, о сражениях с бандами басмачей, о тех, кто принял на себя внезапный удар фашистов... Я буду рассказывать о воинах границы разных поколений. Все они выполнили свой долг. Каждый на своём посту...

И может быть, чуть дольше я задержусь у одного из последних стендов. На нём за толстым голубоватым стеклом лежит снаряжение ликвидированной разведывательно-диверсионной группы: карабины бесшумного боя, пистолеты, ножи...

И если мой сын спросит: «Папа, как звучит выстрел такого карабина?» — Я ему отвечу:

— Представь себе, что кто-то в резиновых сапогах идёт по болоту — чох... чох...





Николай Черкашин

«ПРИКАЗ ОБЪЯВИТЬ ВО ВСЕХ РОТАХ...»

Памяти ефрейтора Анатолия Реки́

Перед майскими праздниками старшина заставы прапорщик Трипутень проверял содержимое солдатских тумбочек. Открывал поочерёдно ящички, распахивал дверцы... На положенных местах пребывали положенные вещи: простецкие электробритвы, флакончики с одинаковым у всех одеколоном «Среди лип», которым торговали в магазине на колёсах, стопочки конвертов с весёлой олимпийской картинкой — других в автолавке не было, подворотнички, запасные портянки, иголки, подсунутые под катушечные нитки... И только в тумбочке рядового Гая уставное единообразие нарушалось объёмистым пакетом, втиснутым к тому же меж двух толстых книжек. Заглянув в пакет, Трипутень обнаружил груду старых глиняных черепков.

— Дежурный! — крикнул старшина, топорща чёрные усы, похожие на мотоциклетный руль.— Гая ко мне! Жив-ва...

И дежурный, предвкушая интересную сцену, ринулся за рядовым Григорием Гаем.

Через минуту перед старшиной, о котором солдатская молва рекла: «Бог создал «отбой» и тишину, чёрт — «подъём» и старшину», предстал щуплый парнишка в свеже-зелёной

тропической панаме и с такой же новёхонькой фляжкой на неисцарапанном ремне.

— Що це за цацки? — грозно спросил прапорщик.

Дежурный вытянул шею, чтобы запомнить разнос в деталях для пересказа в курилке.

— Это поверхностная керамика. Здесь был древний город, товарищ прапорщик. Это я на кургане за стрельбищем нашёл. Вот это носик масляного светильника. Ему лет с тыщу. А это край вазы...

— Постой, постой... Откуда ты знаешь, что ему тыща лет?

— Так это ж раннее средневековье... — обрадовался вопросу паренёк.— Вот тут, в учебнике «Полевая археология», на фотографии как раз такой же... Вот, смотрите — восьмой век.

— Ишь ты! Похож... Ну ладно. Керамику в тумбочке хранить не положено. Снеси в каптёрку, найду тебе тару... А после ужина сходим на курган. Покажешь, где нашёл...

Дежурный разочарованно вернулся на место. Крутой и неумолимый старшина впервые дал осечку...

Едва солнце тихо и плавно приземлилось в барханах, Трипутень и Гай ушли за стрельбище, на курган. Они долго бродили по сыпучим склонам, пугая варанов, рыхля носками сапог песок, подбирая черепки, складывая самые замысловатые в старую противогазную сумку.

Перед отбоем они сидели в старшинской каптёрке, пили чай и разбирали находки. Были тут и кручёные ручки ваз, и осколки кувшинов, изукрашенные лепными рельефами, и даже маленькое железное ядро, растрескавшееся, словно сосновая шишка. Трипутень дивился почти целой терракотовой игрушке — трёхногому коньку и никак не хотел верить, что игрушке тысяча лет, а то и поболе.

— Та у нас в Дарнице на рынку таких скильки хошь!

А Гай больше радовался невзрачной керамической груше:

— Это же сфероконический сосуд! Самый настоящий! У них загадочное назначение, у этих сосудов. Одни учёные говорят, что в них хранили ртуть, другие считают, что это глиняные бомбы, вроде ручных гранат...

— Да-а, хлопец... — вздыхал старшина,— видать, читал ты немало...

— В том-то дело, что мало! А вот в археологический кружок ходил. Во Львове, при университетском музее...

И Григорий с дрожью в голосе рассказывал о Шлимане, откопавшем Трою, о поручике Петре Козлове, открывшем в пустыне Гоби мёртвый город Хара-Хото...

На другой день, выкроив время, они снова пошли на курган, и Трипутень достал из вещмешка сапёрную лопатку.

— Это дело подсудное, товарищ старшина,— забеспокоился Гай.— На раскопки разрешение нужно.

— Та мы лесь-лесь... Копнём на пившишечки... Отута, сбочку... Тильки побачимо, шо там в земле...

Гай не мог сдержать улыбки: этот азарт был хорошо ему знаком.

— Курган наверняка могильный... На глубине в пять-шесть метров захоронен какой-нибудь хан или бек. Лежит весь в золоте и драгоценных камнях...

— Шесть метров, говоришь? — ерошил усы старшина.— Это нам не взять... Это надо всей заставой...

И вытряхивал из пачки сигарету, сначала одну, потом другую...

Так началась эта странная дружба пожилого грозного прапорщика с щупловатым юнцом в необмятой солдатской панаме. Над ними беззлобно посмеивались и даже пытались придумать прозвища — «кладоискатели», «археологи», «гробокопатели», но ни одно не прижилось, потому что кличка любит словцо короткое, точное, клейкое...

— Я, Григорий, с тебя настоящего солдата выроблю,— частенько повторял старшина.— А то шо ты за воин — петух коленкой зашибёт...

И гонял Гая на турнике до белых волдырей на ладонях. А когда солдат признался, что боится высоты, то Трипутень — будённовская школа — не спускал его с каната и вовсе, заставляя взбираться до самого крюка. Гай не ныл, сверхурочные занятия переносил стойко, но без особой радости.

И слово своё прапорщик, кандидат в мастера спорта по самбо, сдержал. К концу первого гаевского года на дозорную тропу выходил ладный сержант, старший пограннаряда, гимнаст и гиревик.

Черепков в каптёрке прибывало, так что Трипутень выделил для них в скором времени упаковочный ящик из-под ручного гранатомёта. Приходили посмотреть на коллекцию начальник заставы капитан Уражцев и замполит лейтенант Заброда. Лейтенант, человек на заставе новый и совсем ещё молодой, перебирал черепки, не скрывая улыбочки, которая

обоим «археологам» показалась даже обидной. Зато капитан сразу подбросил заместителю начальника заставы мысль: «Хорошо бы этими черепками стенд «Край, в котором мы служим» оформить». И такой стенд ко Дню Конституции сделали в Ленинской комнате.

Как-то под Новый год Гай собрал самые интересные черепки в посылочный ящик, переложил старыми газетами и написал на крышке адрес Московского института археологии. Трипутень идею одобрил и даже лично отвёз ящик в город. Про посылку никому ни слова, чтобы не давать пищу шутникам. Маленькую тайну оба берегли честно и только на каждую новую почту набрасывались с особым нетерпением: нет ли конверта с учрежденческим штампом?

Ответ пришёл, когда перед домиком старшины зацвёл бухарский миндаль. Точнее, его привёз пожилой человек в белой джинсовой куртке и такой же шапочке с длиннющим козырьком. Вместе с ним приехали ещё трое: худой, долговязый парень с рыжей бородкой, беловолосая девушка в голубом спортивном костюме и молодой узбек в линялой армейской рубахе и квадратной тюбетейке. Всех их доставил заставский грузовик, заваленный палаточными тюками, рюкзаками, спальными мешками.

Пожилой-то — Вадим Степанович Артюхов,— поинтересовавшись у капитана Уражцева, кто такие Гай и Трипутень, вручил прапорщику незапечатанный конверт. И пока Уражцев изучал бумаги приехавших, старшина прочёл, что учёный совет института благодарит энтузиастов товарищей Гая и Трипутеня за ценную научную информацию и надеется на успех сотрудников поисковой группы во главе с доктором исторических наук Артюховым В. С.

— Может, отслужишь да и поступишь в геологический,— сказал капитан, лукаво посматривая на Гая.

— Посмотрим,— серьёзно ответил Гай и спрятал военный билет с вырезкой из «Комсомольской правды», где был напечатан приказ Министра обороны об очередном увольнении в запас отслуживших свой срок солдат. Больше всего сержанту нравились слова: «Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях». В эту же строку Григорий дописал — «и на пограничных заставах». Смешно, ему и в самом деле верилось, что после этого приказа вся граница, вся Советская Армия, Военно-Воздушные Силы и Военно-Морской Флот знают: сержант Григорий Гай честно

отслужил свои два года и теперь через неделю-другую отправится домой в достославный город Львов.

На случай этого отъезда за обложкой военного билета лежала сотенная бумажка. Её прислала мама...

Оказывается, те пятёрки, которые переводил ей Григорий из своего невеликого сержантского жалования — ведь деньги на границе, считай, ни к чему, а куревом Гай не увлекался, да и письма солдатские отправляют бесплатно,— эти пятёрки мама сберегла. Ах, мама, мама...

Конечно, на эти деньги можно было купить приличные брюки, рубашку и модные туфли, приехать домой во всём новеньком, сияющем... Да разве же есть для пограничника, спешащего домой, костюм лучше, чем своя форма да зелёная фуражка?! Недаром Трипутень шутит: «Бойцов без лычек через Киев не пускают».

Вот и наступил тот день, который всегда казался немыслимо далёким, даже когда оставался до него месяц... Последний отбой, последний компот, последний боевой расчёт...

С понедельника сержанта Гая перестали ставить в наряд, со вторника старшина Трипутень должен был снять его с котлового довольствия...

Григорий постучался в канцелярию начальника заставы:

— Товарищ капитан, разрешите в последний раз сходить... С границей попрощаться.

— Сходи,— широко улыбнулся Уражцев.— Попрощайся...

Вышли засветло. Ефрейтор Цыплаков нёс рацию. Куртка у рядового Дулёнова топорщилась из-под новенького ремня, как пышная юбка балерины. Новичок, он шагал в «золотой серёдке» — между головным Гаем и замыкающим Цыплаковым. Весь день стояла жара — каюк термометрам! И вечер не обещал прохлады. Надо было натянуть маскхалаты на голое тело, так спасались от зноя всегда. Но Григорий не мог отказать себе в удовольствии пройти мимо кургана в побелевшем от солнца обмундировании со всей походной выкладкой. В нём он казался себе таким же подтянутым, ладным и бывалым, как красноармеец Сухов из фильма «Белое солнце пустыни».

Из-под сапог разбегались ящерки «зям-зям». По этой тропе сержант мог пройти с завязанными глазами, зная, где, на каком километре подвернётся под ногу камень, где попадёт ступня в промоину... Знал — долго ещё будет ему сниться эта тропа...



Дулёнов и Цыплаков, не теряясь из виду, приотстали так далеко, что шорохи их шагов растворились в вечерней тишине. Вспомнилось вдруг, как вчера в курилке, оплетённой плющом, Цыплаков пел под гитару им, собравшим свои лёгкие чемоданы:

На этой ветреной земле
Опасны даже листопады.
А мне не просто жить, а мне
Шагать вперёд и быть солдатом...

Хорошо пел ефрейтор Цыплаков...

Солнце садилось. Белый след рейсового самолёта на темнеющем небе был высвечен ярко и розово. В самолёт и в его шлейф солнечные лучи били уже из-за горизонта, куда закатывалось светило.

«В Москву полетел»,— вздохнул Гай, привычно засекая курс лайнера.

Повеяло речной сыростью. Белая, сыпучая от толстой пыли тропа вошла в густые заросли камыша и превратилась в сырой извилистый коридор, прорубленный в тростниковых



джунглях. Гай подал знак «сократить дистанцию». Заболоченная пойма пограничной реки называлась Кафан-хóна, но солдаты слегка её переименовали — Кафтан-ханá. Никто не любил это место — вечно здесь мельтешили рыжие малярийные комары, шныряли из-под ног водяные змеи, стоял тяжёлый дух прели... Через полтора километра тростниковый коридор выводил к наблюдательной вышке, обозначающей стык участков. Там обычно наряды переводили дух и пускались в обратный путь...

Дулёнов шагал тяжело и шумно. Гай обернулся, чтобы показать жестом — «тише»... Два, почти слитых в один, выстрела грянули в спину.

Дулёнов видел, как сержант упал — ничком, будто его толкнули с разбегу. Потом медленно перевернулся на бок и, стянув с плеча автомат, выпустил в камыши очередь, неверно поводя стволом...

Это уже потом, на операции, врач удивлялся: человек с пулей в сердечной сумке жил ещё минуты две — и стрелял... А тогда Дулёнов полоснул с колена огненным веером — туда, куда стрелял сержант и откуда стреляли в сержанта. Потом

подоспел Цыплаков и тоже стал косить камыш длинными очередями. Из зарослей не отвечали. Изумившись внезапной тишине, Цыплаков и Дулёнов услышали, как в хрустких, ломких стеблях тяжело хрипит и бьётся чьё-то тело... Неподалёку обнаружили ещё одного врага — тот не двигался... Пока Дулёнов рвал зубами перевязочный пакет, Цыплаков дрожащими пальцами настроил рацию, вызвал заставу...

Как во сне, несли сержанта к машине. Алые капли кропили дозорную тропу, и красный пунктир этот был очень похож на тот, каким метят линию границы на картах.

Сердце убитого Гая сделало семьдесят ударов, автомат — пятнадцать выстрелов...

Пыльные ветры аравийских пустынь надолго перекрыли вертолётные трассы. Уражцев распорядился похоронить Гая на кургане за стрельбищем. Похоронили честь по чести — с троекратным салютом, с приспущенным над заставой флагом, с торжественным маршем мимо кургана...

Профессор Артюхов назвал тот курган на археологической карте — Гайкент, что в переводе с тюркского означало «поселение Гая».

Прапорщик Трипутень, выводя молодых бойцов на стрельбище, всякий раз предваряет команду «Огонь!» коротким и яростным: «За сержанта Гая!»

И пусть не покажется странным археологам грядущих столетий, когда они, раскапывая могильный курган Гайкент, найдут над доспехами древнего воителя латунную солдатскую пряжку с пятиконечной звездой.



СОДЕРЖАНИЕ

Для младшего школьного возраста

ТРЕВОЖНЫЕ РАССВЕТЫ

Рассказы

ИБ № 8015

Ответственные редакторы
С. В. Орлеанская и *М. С. Ефимова*

Художественный редактор
В. А. Горячева

Технические редакторы
И. В. Золотарева и *Л. С. Стёпина*

Корректоры
В. В. Борисова и *Т. А. Нарышкина*

Сдано в набор 27.03.85. Подписано к печати 25.11.85. Формат $70 \times 100^1/_{16}$. Бум. офс № 1. Шрифт обыкновенный. Печать офс. Усл. печ. л. 10,4. Усл. кр.-отт. 22,59. Уч.-изд. л. 7,63. Тираж 150 000 экз. Заказ № 295.
Цена 50 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Т66 **Тревожные** рассветы: Рассказы/ Составитель В. Голанд; Рисунки В. Юдина.— М.: Дет. лит., 1986.— 127 с., ил.

В пер.: 50 коп.

Рассказы о пограничной службе, которая требует от молодых воинов отваги, знаний, большого воинского умения.

Издается в связи с 40-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Т $\frac{4803010102-018}{М101(03)86}$ 390—85 **Р2**






50 коп.